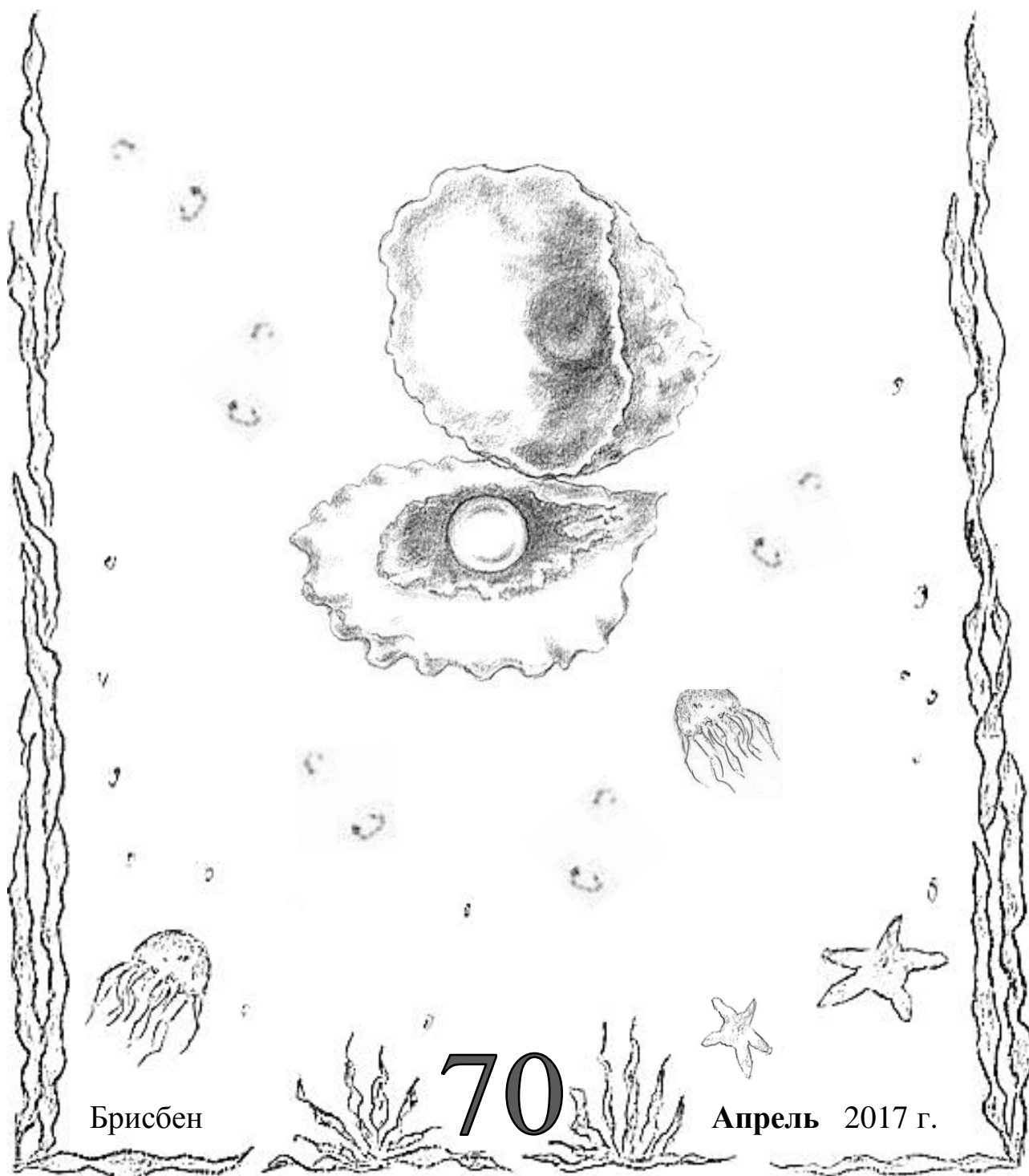


ЖЕМЧУЖИНА

Литературно-художественный образовательный журнал

«The Pearl» / «Zhemchuzhina» № 70 Brisbane, Australia, April 2017



Брисбен

70

Апрель 2017 г.

“The Pearl” / “Zemchuzhina”

Literary and Educational Journal in the Russian Language.

Published and printed by the Editor of “The Pearl” / “Zemchuzhina”

Brisbane, Australia.

«Жемчужина»

Литературно-художественный образовательный журнал.

Выпуск - 4 раза в год.

Copyright © Tamara Maleevsky - The Editor of “The Pearl” / “Zemchuzhina”

This publication is copyright. Apart from any fair dealing for the purposes of private study, research, criticism or review, as permitted under the Copyright Act, no part may be reproduced by any process without written permission of the Editor.

National Library of Australia cataloguing-in-publication data

“The Pearl” / “Zemchuzhina” - Literary and Educational Journal in the Russian Language

Index

ISSN 1443-0266

Signed articles express the opinions of the authors and do not necessarily represent the opinions of the editor of “The Pearl” / “Zemchuzhina”.

“Zemchuzhina” (“The Pearl”) is a magazine published at the Editor’s own expense as a non-profit publication for the Russian society, consequently, it does not offer any honorariums, stipends or other remuneration to its contributors.

Взгляды, высказываемые авторами в своих статьях, не обязательно совпадают с мнением редакции.

Журнал «Жемчужина» выпускается исключительно на личные средства издателя для русского общества и не преследует коммерческих целей. Следовательно, издатель не выплачивает никаких гонораров, стипендий или иных вознаграждений авторам, труды которых он печатает.

Редакция оставляет за собой право сокращать рукописи и изменять их стилистически.

Рукописи, не принятые к печати, не обсуждаются и не возвращаются.

Адрес для связи:

tamaleevsky@optusnet.com.au или tmaleevsky10zabelsky@gmail.com

***Просьба:** посылая работу по E-mail, обязательно делать пометку - “For Pearl”.

Tel: *редакция* - (07) 3161-49-27 *mobile:* 0404559294

Сайт журнала в Интернете - <http://zemchuzhina.yolasite.com>

Цена отдельного номера - \$ 7 плюс пересылка по Австралии и упаковка.

Стоимость годовой подписки (4 журнала), включая пересылку по Австралии - \$ **36.00**

Христос Воскресе!

Дорогих читателей, авторов и друзей журнала поздравляем
с Великим Праздником

Светлого Христова Воскресения!

ред. журнала «Жемчужина»

Христос Воскресе! Жизнь торжествует!

Весной, когда так благостно
Природы пробуждение,
Трепещет сердце радостно
Христовым Воскресением.

Весь мир веселием объят,
Ликует с небесами:
Христос воскрес! Повержен ад!
Не властна смерть над нами!



Сайт «Свете Тихий»

Играет солнце, ожил лес,
Птиц трели рвутся ввысь;
Весна идет! Христос воскрес!
И торжествует жизнь!

Людмила Громова.

Зима ушла...

Зима ушла. Закончились морозы,
Растаяли на окна кружева.
Концерт готовят птицы-виртуозы,
И шепчется загадочно трава.

Лучами землю солнце обнимает,
Суровый ветер ласковее стал.
Душа несмело босиком ступает
На трудный путь Великого поста.

Деревья пробудились. Пахнет соком.
Резные облака над головой.
Стою, застыв в раздумии глубоком,
Грехами скован дух печальный мой.

Нежданный тихий дождь умыл дорогу,
Сбежал с зонта и намочил плечо.
Скучает сердце по живому Богу
И не находит радости ни в чем.

Ведут на небо радуги ступени,
Шагает важно и степенно грач.
Душа бежит, бежит на свет из тени,
Дает ей силы покаянный плач.

Весна рассыпала цветы по полю,
И пчелы пробуют на вкус нектар.
Душа вдыхает полной грудью волю
И славит Бога за бесценный дар.

31.3.2017

прот. В. Мазур.



Поле-полюшко
в цветах

Поле-полюшко в цветах,
Небо - синь бездонная.
Русь вздремнула на стогах,
Богом бережёная.
Льёт от края и до края
Радость и печаль;
Над цветами, ангел тая,
Обряжает их в сусаль.
Запах мяты и полыни,
Одинокий клён,
И качает нити сини,
Колокольный звон.

Виктор Шамонин-Версенеv
Сайт «Свете тихий»

ДО ГРОБОВОЙ ДОСКИ

(или Солдатская книжка Государя Николая II)

*Стихотворение написано по мотивам воспоминания А.А.Бехтеева
«Солдатская книжка Царя-Мученика».*

Ливадия. Крым. Утро раннее. Берег.
Сегодня нет ветра, прохладой веет
От Черного моря, что дремлет в лазури,
Вдали от ветров замечтавшейся бури.
По берегу всюду сады и строенья,
И Царский дворец как всему украшенью.
Идёт по аллеям и парку солдат,
Невольно на море бросая свой взгляд.
Там ширь до небес и лазурные воды,
Белеют на рейдах своих пароходы,
И яхты, скользя, режут вод зеркала,
Вдали горделиво темнеет скала...
В защитного цвета простой гимнастёрке,
В таких же штанах, он идет втихомолку,
К винтовке с примкнутым холодным штыком,
Дорожной сумою (считай рюкзаком).
Патронные сумки на поясе ратном,
Солдат как солдат, это сразу понятно.
Но чем-то отличен Он все ж от других,
Солдат наших русских, от поступи их.
В глазах голубых - словно брызги небес,
И ласковый взор, как с оружием, так без.
Густые усы, небольшая борода,
Идет он уверенной лёгкой походкой.
Но если бы встретил его генерал,
То тут же во фронт перед солдатом бы встал.
А дело всё в том, что Верховный России,
Вождь Царства и Армии, в сердце носимый
Миллионами подданных, взялся узнать,
Что в форме солдатской ещё поменять:
Улучшить, облегчить солдату одежду.
Сей способ неведом в истории прежде,
Ещё никогда ни один генерал,
Одежду солдата так не испытал.
Свой опыт всегда лучший друг и советчик,
А Батюшка Царь перед Богом ответчик:
За Царство своё, и за форму солдата,
За веру Христову, за всё, чем богаты!..
Но вот поворот и на гору подъём,
Он крут, но солдату подъём ни по чём.
Он ловок и навик имеет с рожденья
В служенье Отечеству и восхожденью!

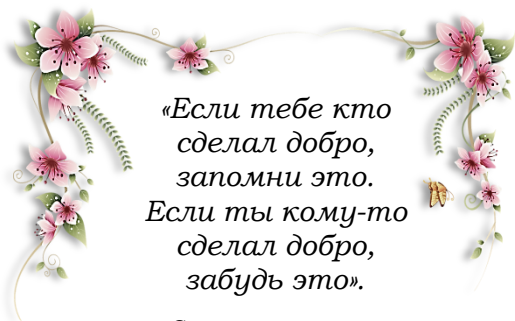
Горячее солнце дохнуло жарой.
Солдат на часы глянул: скоро домой!
Присел он на камень, пьёт воду из фляжки,
Остатком воды увлажняет фуражку.
Подъём длился долго: прошло два часа,
Он смотрит на море: «Ах, Божья краса!»
С вершины горы открываются виды
Ливадии милой – души Атлантиды.
Любил Государь тихий солнечный Крым,
Душой ощущал здесь себя молодым.
И Царские Дети сей край обожали,
И часто на отдых сюда приезжали.
И крестится Царь, умиляясь душой
Пред Божьим Величием, с верой большой!
Но полно, пора уж назад возвращаться,
И Царь начинает к подножью спускаться.
Вот парк и аллеи ведут ко дворцу.
Идет Царь по парку, как форма к лицу!
Подтянут и строен, с походкою плавной,
Он всё уяснил и извлёк себе главное.
Навстречу идет командир сам полка,
С своим адъютантом. К фуражке рука:
- Как Ваше Величество, Вы прогулялись,
Довольны ли формой солдатской остались?
- Скажите, полковник, в моём снаряженье
Всё было без всякого там исключения?
- Так точно! – Полковник ответ ему дал.
Всё как по Уставу, один лишь изъян.
У Вас ещё не было Книжки солдата,
Но я захватил её» - И аккуратно
Он Книжку Царю поклонившись даёт,
Царь Книжку с почтением в руки берёт.
- Наш полк был бы счастлив безмерно и рад,
Коль книжицу сам бы заполнил солдат.
Царь тут улыбнулся и быстро пером
Заполнил все графы, присев за столом.
Вписал он срок службы своею рукой,
Пометив конец: «До доски гробовой!»
Служил Он Отечеству 23 года,
Для Бога и для дорого народа.
Но волею рока финал был иной:
Лишен был Царь Русский доски гробовой!

30.10.2016 **В.К. НЕВЯРОВИЧ.** Россия.



Смысл жизни человека спрятан так,
Что поиски его не всем под силу.
И многие, приняв за смысл пустяк,
Ползут себе бессмысленно по миру.
Смысл жизни человека - стать собой
И до конца пройти свою дорогу.
Преодолеть сомнений тяжкий рой
И вдруг в себе себя увидеть - Бога.

Валерий Румянцев. Россия.



*«Если тебе кто
сделал добро,
запомни это.
Если ты кому-то
сделал добро,
забуди это».*

Схиархимандрит
Илий (Ноздрин).

ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ



20. О ЛОЖНЫХ РЕШЕНИЯХ ПРОБЛЕМЫ

У людей слабых духом есть потребность идеализировать то, что они делают, и закрывать себе глаза на несовершенные или слабые стороны своего поступка, своей деятельности, своего общего душевного уклада. Это естественно и понятно, ибо нужен зрелый духовный характер и нужна сила воли для того, чтобы при наличии живой совести делать сознательно и усердно то, что она не признает совершенным, судить себя за это, и все-таки утверждать свою деятельность как необходимую, продолжать ее и не колебаться в чувстве собственного духовного достоинства. Людям «бессовестным» живется, может быть, гораздо легче: им просто чужда потребность в объективной правоте, и вместо духовной самооценки и духовного самочувствия в них живет личное самолюбие и тщеславие, охотно удовлетворяющееся житейским успехом и купленной лестью. Не то у людей «совестных», но слабых: они не имеют силы подолгу выносить взором то расстояние, которое отделяет их от идеала, и начинают или уменьшать, урезывать, упрощать и искажать содержание идеального образа, или идеализировать себя, свою жизнь и свои поступки, или же и то и другое вместе. И в этом их отличие от людей «совестных» и сильных: такие люди способны выносить зрелище своего несовершенства, признаваться в своих заблуждениях и исправлять свои ошибки; мало того, они умеют верно выделять из идеального то, что непосредственно осуществимо, с энергиею преданности бороться за его осуществление, и притом не в измену идеалу, а в верность и в служение ему.

Именно такие люди призваны и способны к тому, чтобы принять жизненно и духовно необходимое, но нравственно не идеальное средство и вести им борьбу, отнюдь не закрывая себе глаза на его нравственное несовершенство. В истории человечества именно таковы были и будут носители духовно-правого меча.

Для того чтобы верно разрешить вопрос о нравственном совершенстве какого-нибудь образа действий, или средства борьбы, или способа сопротивления, необходимо сопоставить, с одной стороны, чистое, максимальное мерило добра и, с другой стороны, то внутреннее отношение человека к человеку, для которого этот внешний образ действия или способ сопротивления является верным и точным выражением. Совпадение или несовпадение сопоставляемых величин дает необходимый ответ.

Это означает, прежде всего, что необходимо поставить перед собою вопрос не о «лучшем» (т.е. относительно или сравнительно лучшем, о меньшем зле или о наименьшей неправедности), а о самом лучшем, о том, что есть действительно и объективно совершенное? В том первое и основное условие духовности: в этом самая сущность духа. Христианин ставит свою совесть перед совершенством «Небесного Отца» и вопрошает ее о нравственно идеальном отношении человека к человеку. И совесть дает ему, бессловесно и немысленно, эмоционально-волевым толчком - тот единственный ответ, который она дает всегда и дает всем: о самом лучшем, об идеально совершенном отношении, о единственно праведном; и притом так, что этот бессловесный, но активно-понуждающий ответ, как бы порыв к определенному действию, сообщается человеку без участия мысли или слова. Этот ответ не соотнобразяется ни с какими обстоятельствами, не применяется ни к каким соображениям, не обуславливает себя никакими данными ограничениями. Напрасно спрашивать совесть о чем-нибудь относительно или условном (напр., что лучше: «то» или «это»): напрасно подходить к ней с вопросами, не относящимися к нравственному измерению (напр., что полезнее, что целесообразнее, как умнее поступить): напрасно было бы навязывать ей какую-нибудь определенную жизненно-практическую ситуацию (напр., участвовать в войне или не участвовать? сообщать властям о готовящемся покушении или не сообщать?); напрасно было бы втискивать ее ответ в какую-нибудь предвзятую словесную или логическую формулу, или требовать от нее «только подтверждения», или ограничивать ее ответ своим житейски-рассуждающим предвидением. Все это повело бы к ложным решениям и означало бы, что исследующий не понимает природу совести и не

знает ее основных законов. Ибо ответ ее может быть совершенно неожиданным для вопрошающего и всегда появляется лишь в виде определенного чувствования и воления, слагающего побуждение к определенному действию. Вопрос же, на который она отвечает, всегда один и тот же: «что есть нравственно самое лучшее перед лицом Божиим?»

С этим ответом ее следует сопоставить то душевное состояние, которое переживает человек во время понуждения или пресечения злодея. При этом надо иметь в виду именно душевное состояние, а не внешний состав поступка как таковой (напр., внешнее явление «толчка», «удара», «выстрела»). Однако душевное состояние можно вообразить себе в любом виде и составе; поэтому здесь надлежит не выдумывать и не фантазировать, а найти в подлинном опыте то реальное душевное состояние, которое действительно соответствует внешним пресекающим деяниям, то вызывая их к жизни, то вызываясь ими в душе (начиная от обличительной речи и кончая смертельным ударом меча). Это душевное состояние - несочувствия, неодобрения, негодования, гнева, отвращения, безжалостности - надлежит выделить и взять в его чистом и обособленном виде, не осложняя его ни предшествующей историей личной души, ни расследованием ее мотивов и целей, ни описанием последствий. Все это было бы важно и необходимо, если бы происходил суд над живым, целно рассматриваемым человеком, над действующей личностью. Но в данном случае устанавливается не правота человека и не виновность его, а нравственное совершенство или несовершенство такого-то, доступного ему, душевного состояния. Это означает, что производится не практическое исследование о том, как поступать и что делать, а теоретическое исследование о том, что есть нравственно лучшее; не суд и вменение, а принципиальная оценка известного, душевно-духовного состояния. Практический же вопрос о том, что делать и как поступать человеку, присутствующему при злодеяниях, должен решаться впоследствии и самостоятельно. Установив, напр., что душевное состояние пресекающего - нравственно «совершенно», человек может все-таки избрать для себя путь непротivления (напр., по слабоволию), и обратно: признав, что душевное состояние пресекающего - нравственно несовершенно, человек может, несмотря на это, признать для себя эти нравственно-несовершенные состояния практически обязательными, неизбежными, приемлемыми.

Все это можно было бы выразить совсем просто в виде вопроса: «взаимное несочувствие, неодобрение, негодование, гнев, отвращение, безжалостность - суть ли нравственно совершенные состояния и отношения человеческой души?» Или иначе (метод Канта): если бы все люди стали строить свою совместную жизнь на основании таких именно и только таких чувств, настроений и поступков - возникла ли бы нравственно совершенная жизнь? Или, в терминах Евангелия: это ли вводит нас внутренне в Царство Божие?

Нет сомнения, что ответ будет отрицательный. Можно с уверенностью предвидеть, что человеческое малодушие не примет этого ответа и будет всячески уклоняться от него, впадая в различные соблазны и распространяя их вокруг себя. И, может быть, первое, на что оно сошлется, будет предметное соответствие между отрицательной любовью и злодейством. Скажут: «естественно и справедливо любить незлодея, но столь же естественно и справедливо понуждать и пресекать злодея, а справедливое не может не быть нравственно совершенным, и потому нет никакого несовершенства в понуждении и пресечении». На самом деле все обстоит иначе: любовь и нравственное совершенство больше справедливости, соразмеряющей и отвечающей каждому по его делам; благость и милость, проистекающие от любви, не соблюдают справедливости, а покрывают и превышают ее, и любви дано любить в благодатном милосердии, не «в меру» и не «в соответствие», а сверх всякого соответствия и сверх всякой справедливости (притча о блудном сыне). Поэтому совершенство и справедливость не совпадают: справедливость может быть нравственно несовершенною, а нравственное совершенство может творить несправедливость. Так, образно говоря: несправедливо солнце, одинаково изливающее свой свет на добрых и на злых, но совершенное в этом всепрощающем любвеобилии (образ всеблагого Божества); напротив, справедлив посекающий меч, движимый положительною любовью к делу Божию на земле и отрицательною любовью к злодею, но нравственно-несовершенный в своем необходимом служении (образ не всеблагого, но героического человека). Конечно, справедливость больше и лучше, чем несправедливость, но нравственное совершенство еще больше и еще лучше, чем справедливость. Поэтому ссылка на то, что «казнь справедлива по отношению к злодею», - не избавляет нас от основного вывода, утверждающего, что эта справедливая мзда не может и не должна признаваться нравственно-совершенным обхождением человека с человеком.

Однако такой вывод может породить новую попытку уклонения. А именно, кто-нибудь скажет, что нравственно-совершенное тем самым и практически обязательно для человека и

притом всегда и без исключений, а нравственно-несовершенное всегда практически запретно и является грехом, и недопустимо утверждать, что человеку может быть позволено что-нибудь греховное...

При внимательном анализе такого утверждения в нем обнаруживается целое гнездо ошибок и неточностей, которые должны быть вскрыты и освещены.

Установим прежде всего, что всякое цельное осуществление нравственно-совершенного деяния приобщает человеческую душу состоянию праведности, а всякое неосуществление нравственно-совершенного деяния приводит ее в состояние неправедности. Однако «неправедность» далеко еще не есть синоним «проступка» или «греха». «Неправедность» есть понятие родовое, а «грех» или «проступок» есть понятие видовое, так что всякий грех есть разновидность неправедности, но далеко не всякая неправедность есть грех.

Неправедность будет грехом только тогда, если она проистекает из недостаточной силы человека в добре. В самом деле, человек падает, «грешит» (или, с нравственной точки зрения, - «совершает проступок») тогда, когда он допускает неправедность от своей слабости в добре или от своей силы во зле, безразлично, будет ли это слабость воли, или сознания, или духовного видения, или же сила страстей. Во всех этих случаях объективные условия поступка не исключают праведного исхода; так что он мог бы быть найден и осуществлен, если бы человек был сам на высоте; но вот, человек оказался не на высоте: должного он не сделал, а сделал запретное; и потому это деяние явилось его падением, его проступком, его грехом. При этом виновность его может быть большей или меньшей в зависимости от состояния его души вообще и, в частности, в момент совершения греха, но известная виновность будет налицо всегда.

В противоположность этому неправедный исход может быть осуществлен человеком потому, что самое положение, в которое он поставлен, самые объективные условия его поступка - исключают праведный исход. В этом случае сам человек является достаточно сильным в добре для того, чтобы не совершить греха: и воля его достаточно сильна, и сознание его не позволяет бессознательно вводить себя в обман, и духовное видение его зорко и верно отличает добро от зла, и страсти его облагорожены и преданы благу, и тем не менее он вынужден принять и осуществить неправедный исход. Если бы праведный исход был объективно возможен, то он был бы им субъективно найден и осуществлен, но он должен жить и призван действовать, имея перед собою только нравственно-несовершенные, неправедные исходы. Он вынужден к неправедности объективными, данными ему условиями, и, приемля эту неправедность, он должен только найти наименее неправедный исход и осуществить его как необходимый и обязательный. Такой поступок является сознательным, волевым и зрячим осуществлением неправедности, но он не является ни падением, ни проступком, ни грехом.

Именно в таком положении находится человек, ведущий борьбу со злодеями и вынужденный в этой борьбе обратиться к силе и мечу - непосредственно, в виде удара и выстрела, или опосредствованно, в виде того или иного участия в государственной жизни. Ибо поскольку государственное дело нуждается в силе, постольку каждый участник его оказывается вынужден принять волею и действием тот способ борьбы, который не является нравственно совершенным. Принимая его, человек осуществляет исход неправедный, несовершенный, несвятой, но наименее неправедный из всех возможных. Это есть не отпадение от совершенства по субъективной слабости, а отступление от совершенства по объективной необходимости и проявление субъективной силы. Человек совершает не то, что ему практически запрещено, а то, что составляет его практическую обязанность. Он творит не грех, а несет служение. И служение его, неправедное по способу действия, не может быть признано делом греховным, злым или порочным.

Отсюда уже ясно, что все нравственно-совершенное - практически обязательно для человека всюду, где ему объективно доступен праведный исход; там же, где этот исход недоступен ему объективно, там для него становится обязательным неправедный исход, но притом такой, который ведет к наименьшей неправедности. Это означает, что нравственно-несовершенное не всегда практически запретно и что оно незапретно именно там, где объективно невозможен праведный исход. Это означает также, что нравственно-несовершенное деяние может и не быть грехом, ибо грех есть всегда отпадение в сторону субъективно предпочтенного зла, тогда как неправедность может состояться не в виде «отпадения» и не в силу того, что зло оказалось более сильным или более привлекательным.

Таким образом, сопротивление злу силою и мечом не является грехом всюду, где оно объективно необходимо, или, что то же, где оно оказывается единственным или наименее неправедным исходом. Утверждать, что такое сопротивление является «злом», «грехом» или

«нравственным преступлением», - значит обнаруживать скудость нравственного опыта или беспомощную неясность мышления.

И тем не менее это сопротивление осуществляет нравственную несправедливость. И в этом пункте необходимо добиться совершенно ясного видения.

Самое сопротивление злу как таковому всегда остается делом благим, праведным и должным. Чем труднее это сопротивление, чем с большими опасностями и страданиями оно сопряжено, тем больше подвиг и заслуга сопротивляющегося. Но то, что совершает сопротивляющийся меченосец в борьбе со злодеями, не есть ни совершенный, ни святой, ни праведный ряд поступков. Правда, только наивная грубость прямолинейного моралиста может сказать, что это есть «зло» и «грех», ибо, на самом деле, это есть негреховное (!) совершение несправедливости. Однако меньшей ошибкой явилось бы абсолютное оправдание и освящение силы и меча, ибо на самом деле это есть негреховное совершение несправедливости (!). Нельзя налагать абсолютный запрет на силу и меч, ибо обращение к ним может быть нравственно и религиозно обязательным. Однако нельзя возносить силу и меч на высоту совершенства и святости, ибо обращение к ним выводит душу из любовной плеромы и возлагает на нее бремя несовершенного делания.

Одна из самых наивных и элементарных попыток дать мечу абсолютное оправдание принадлежит Мартину Лютеру.

Установив на основании Апостольских Писаний (Рим 13:1; 1 Петра 2:13–15), что светская власть учреждена Богом, Лютер указывает на то, что меч «защищает благочестивых женщин и детей, дома и дворы, добро и честь, и тем самым поддерживает и ограждает мир» и что он предотвращает этим «гораздо большие бедствия». Отсюда он делает тот вывод, что и самое дело меча (война, с ее убийствами и грабежами, «Wurgen und Rauben») есть «дело любви», дело «превосходное и божественное» («kostlich und göttlich»). Мало того, он утверждает, что самая рука, которая действует таким мечом и убивает, - если только она не творит произвола и злоупотреблений - «не есть уже более человеческая рука, но Божия рука, и это не человек, а Бог вешает, колесует, обезглавливает, убивает и воюет; все это - Его дела и Его приговоры». Человек должен быть в этом твердо уверен; тогда у него будет «несомневающаяся», «уверенная» и «благоутвержденная совесть», а это прибавит ему мужества и бодрости в сражении.

Первобытная упрощенность и прямолинейность этого рассуждения, навеянного иудейскими традициями Ветхого Завета, бросается в глаза. Движимый практической потребностью укрепить дела «кесаря» и успокоить совесть воина, Лютер совсем снимает грань, отделяющую дело земной борьбы со злодеями от Царства Божия, грань, отделяющую правосознание от совести, целесообразное от совершенного, человеческий героизм от Всеблагого и Беспредельного. Дело человеческого меча со всеми его атрибутами и проявлениями объявляется не служением ограниченного человека, а деянием всемогущего Бога. Но так как «дело самого Бога» не может не быть совершенным, то убийство, колесование и вешание объявляется делом совершенным, «превосходным и божественным»... При этом Лютер не оговаривает различия между полнотой положительной Любви и несовершенством любви отрицательной; он не замечает и того, что в Посланиях дело меча и светского повиновения устанавливается не в смысле их божественного совершенства, а в порядке земной необходимости бороться со злом и «заграждать уста невежеству безумных людей» (1 Петра 2:15). И в результате его рассуждений та совесть, которую он называет «слабую, глупую и сомневающуюся» и которую он стремится «успокоить», - или остается при своих практически обессиливающих прозрениях, или же уходит на ложные пути; но помочь ей он не в состоянии.

Более утонченную попытку дать абсолютное оправдание не только мечу, но и любой несправедливости можно найти у некоторых иезуитов. Опираясь, по-видимому, так же, как и Лютер, на ветхозаветное представление о Боге, согласно которому Божество мыслится как совершенство силы, а не как совершенство любви и добра, иезуиты допускают возможность того, что Бог может поручить или позволить человеку совершение дурных дел. Так, иезуит Бузенбаум, установив запретность преднамеренного и сознательного человекоубийства, делает исключение для того случая, когда совершение его будет «позволено Богом, Господином всяческой жизни». Еще более отчетливо выговаривает это иезуит Алагона: «По повелению Божию можно убивать невинного, красть, развратничать, ибо Он есть Господин жизни и смерти, и всего, и потому должно исполнять Его повеление». При таком истолковании оказывается, что само Божество непосредственно не творит самого несправедливого дела, но только поручает или позволяет его человеку, а человек, непосредственный совершитель дурного дела, не только не несет за него ответственности, ибо повинуется «голосу Божию», но даже обнару-

живает при этом высшее религиозное смирение и покорность. Соблазнительность этого учения очевидна. Трижды не прав тот, кто его исповедует: во-первых, в том, что он допускает возможность получить от Бога понуждение к несправедности и греху, воспринимая Его абсолютную власть и не воспринимая Его духовного совершенства; во-вторых, в том, что он малодушно бежит от бремени человеческой земной необходимости, от бремени решения и ответственности, предпочитая лучше извратить свое Боговосприятие, чем ответить за свою несправедность; и, наконец, в-третьих, он не прав в том, что, прикрываясь смирением и покорностью, он пролагает себе свободный и непререкаемый доступ к греху. Конечно, следует иметь в виду, что церковная власть, позволяющая иезуитам высказывать подобные воззрения, наверное, захочет взять на себя авторитетное установление и формулирование тех, по содержанию несправедных и греховных, повелений, которые якобы «исходят от Бога»; однако соблазн не только не угаснет от этого, но примет еще более грозные размеры, захватывая церковный авторитет и разливаясь по всей церкви.

Когда человек в борьбе со злодеями обращается к силе, мечу или коварству, то он не имеет ни основания, ни права слагать с себя бремя решения и ответственности и перелгать его на Божество: ибо эти средства борьбы суть не божественные, а человеческие; они необходимы именно вследствие всемогущества и несовершенства человеческого, и с этим сознанием они и должны применяться. Человек, ведущий борьбу со злодеями, должен сам видеть, и усматривать, и оценивать все условия борьбы, разумея их своим человеческим умом и принимая решения своею, человеческою волею; он должен понимать, что он вынужден обращаться к этим средствам именно потому, что он сам не Бог, а лишь ограниченный, но преданный слуга Божий, и потому он должен совершать это необходимое - по своему крайнему, человеческому разумению и усмотрению. И тогда он увидит, что эти несправедные средства являются для него не просто «разрешенными», но и не «освященными», а обязательными во всей их несправедности.

Вся основная проблема нашего исследования была бы извращена и поставлена неверно, если бы кто-нибудь попытался свести ее к вопросу о разрешенности или, еще хуже, «извинительности» или «простимости» понуждения и пресечения. Спротивление злу силою и мечом допустимо не тогда, когда оно «возможно», а когда оно необходимо, но если оно в самом деле необходимо, то человеку принадлежит не «право», а обязанность вступить на этот путь. Конечно, обязанность сделать что-нибудь включает в себя и право совершить это; однако тот, кто «имеет право» ударить другого, тот имеет право и не ударить его, а «простить», или «воздержаться», или просто «не захотеть» воспользоваться своим правом; к тому же щедрость любви иногда прямо подсказывает, что иногда лучше своим «правом не пользоваться. Напротив, обязанность исключает «право» несовершенного поступка: тот, кто обязан, тот утратил свое неестественное произволение, - ему остается один, единственный путь, ведущий его к правоте, и этот путь не может быть погашен щедростью и уступчивостью любви. Разрешение развязывает душу, тогда как обязанность связывает ее. И это различие проявляется с особенной наглядностью тогда, когда «разрешение» получает оттенок «извинительности» или «простительности». Ибо тот, кто исполняет свою обязанность, - тот не нуждается в извинении; надо не прощать его, а подражать ему, и обратно: если какой-нибудь исход «простителен» и в этом смысле «разрешен» - то это означает, что противоположный исход не обязателен. То, что «простительно», то, строго говоря, составляет нечто недолжное, ненадлежащее, может быть, прямо запретное; и сколь бы велика ни была эта «простительность», она никогда не сообщит душе правоту исполненного долга. Вот почему обязательность силы и меча есть критерий их допустимости.

Понятно, что всякая попытка закрыть себе глаза на обязательность несправедного средства в борьбе со злодеем или на несправедность этого обязательного средства является проявлением малодушия и ведет к соблазнам. Ибо на самом деле путь силы и меча определяется именно как путь обязательный и в то же время несправедный.

Для того чтобы закрыть себе глаза на его несправедность, люди нередко обращаются к тому общеизвестному рассуждению, согласно которому праведная цель «оправдывает» или «освящает» дурные средства. Между тем это малодушие, и соблазнительное рассуждение является совершенно несостоятельным. Ибо, на самом деле, нравственная ценность средства совсем не определяется нравственною ценностью цели и не зависит от нее. Для того чтобы определить нравственную ценность средства, следует сопоставить его совсем не с тою целью, ради которой она осуществляется и которая сама по себе не есть критерий добра; сопоставление с целью может обнаружить только жизненную целесообразность средства, но никак не его нравственную верность. Понятно, что жизненно целесообразное средство может оказаться «безнравствен-

венным», и обратно. И точно так же «нравственно-совершенное» средство может быть и нецелесообразным, и обратно.

Нравственная праведность - как цели, так и средства - определяется в особом сопоставлении каждого из них отдельно с полнотою добра, т.е. с идеею нравственного совершенства, как единым, верховным критерием. Это сопоставление должно быть выполнено дважды: отдельно для цели и отдельно для средства: так что оно дает всегда два вывода и, может быть, два прямо противоположных вывода. Никаких иных путей для установления нравственной цели средства - нет. Средство и цель связаны друг с другом совсем не связью нравственной данности, а связью - во-первых, мотивационною и, во-вторых, генетическою: так, во-первых, во внутреннем переживании человеческой души, поскольку желание ее направлено на цель, а воображение ее ищет подходящих средств, - воля к цели вызывает и мотивирует волю к средству и к его осуществлению, и притом потому, что человек преулавливает причинную связь между ними, связь, которая по существу своему не зависит от их нравственной ценности; далее, во-вторых, в процессе осуществления средство становится причиной, а цель последствием, и эта генетическая связь совершенно не зависит от нравственной ценности обеих сторон. Целесообразность средства зависит от того, является ли оно необходимой и достаточной причиной по отношению к цели; вопрос же о нравственной праведности средства - этим вовсе не предрешается: он подлежит особому, не практически-выбирающему, а теоретически-оценивающему рассмотрению.

Вот почему нравственное достоинство цели никак не может перенестись само собою на средство, подобно тому как нравственно достойное средство может служить и отвратительной цели. Хорошо помочь бедному, но не для того, чтобы купить этим его голос на выборах; или другой пример: предающий друга за деньги совершает низкое дело даже и в том случае, если он хочет спасти этим от голода свою жену и детей. Благая цель не «оправдывает» и не «освящает» неправедного средства.

Таким образом, вскрывается неверность обоих крайних решений: первого, которое предает основную цель борьбы ради того, чтобы избежать неправедных средств (непротивление!), и второго, которое отвергается от созерцания совершенства ради того, чтобы нестесненно и уверенно пользоваться неправедными средствами. Первый исход создает иллюзию праведности, обеспечивает злу легкое торжество и разочаровывает человека в жизненной силе праведности и добра: в результате слагается и крепнет воззрение, будто «праведность нежизненна» и будто «добродетель предназначена для глупых людей». Второй исход создает иллюзию целесообразности и иллюзию победы добра, незаметно отрывает борющегося от его главной и конечной цели и развращает его душу идеею вседозволенности: в результате дурные средства начинают служить дурным целям и возникает воззрение, будто «жизненно только греховное» и будто «умному человеку и грех не страшен». Ясно, что оба эти исхода ведут, в конечном счете, к одному и тому же - к общественной деморализации.

И.А. Ильин.

Пессимист плачет в жилет,
оптимист - в декольте



От озёр и от рек...

Петровой/

От озёр и от рек
За борами лесов
Уходил человек
В шум больших городов.

От любви первых лет
Уходил впопыхах,
Угасал тихо свет
В деревенских домах.

От лугов заливных
И таёжных полян,
От проулков родных
И от песен селян.

Человек уходил
От отцовской земли,
От безмолвных могил,
Что травой заросли.

От молитвы своей,
От родного кутка...
Будто стала ничьей
Колыбель навека?



Сайт «Свете Тихий» 16.04.201

А. ЛАЗУТИН.



В церковном дворике...

В церковном дворике щебечет соловей,
Взывая трелью к небу: «Аллилуйя!»
И майский день сияет и ликует,
И город, вдруг, становится светлей.

Всечасный праздник красками разыграл,
Благоуханьем сказочного мая.
И мир цветущий солнцем восхваляет,
Того, Кто смертью крестной смерть поправил.

Иван Нечипорук.

Горловка. Донецкая Республика.



Первое тепло

Ласковое солнце - неужели? -
Потеснило тяжесть серых туч,
И упал на землю карамельный,
Ясной сути радующий луч.

И пошёл гулять себе по крышам,
По дворам, раскрашивая мир...
Мягче воздух стал, которым дышим,
Каждый миг стал бесконечно мил.

Снег последний тальми ручьями,
Зимней власти упраздняя щит,
Забирая зимние печали,
С глаз долой сойти на нет спешит.

Луч медовый на моей ладони...
Как же я тебя, весна, ждала!
В неге разлитой чувство тонет,
В ясной сути первого тепла!

Светлана Тишкина.

Сайт «Свете Тихий».

В нежно-тихую рань...

В нежно-тихую рань
Просыпаюсь в лугах,
И куда я ни глянь,
Ночка дремлет в стогах.
Льёт небесная высь
Дивный набожный свет,
Там тебя заждались,
А, быть может, и нет.
Я смеюсь и пою,
Благодать и покой,
Обнимаю зарю
И дышу синевою.

Виктор Шамонин-Версенев
«Свет Тихий»



А за окошком сыпал снег...

Вновь за окошком сыпал снег
неповторимый, как и первый.
Замедлил свой, казалось, бег
период гроз жестокосердных.

А снег все падал и кружил,
безмолвно под ноги ложился -
кудесник белый ворожил, -
и лунный свет в окно струился...

Такая тишина кругом
была, что даже слышно стало,
как сердце трепетно-легко
от умиления стучало...

Ах, как хотелось, чтоб земля,
укрывшись снежным покрывалом,
забыла варварство огня
и мирно бы опочивала...

Светлана (фамилия не указана)
Сайт «Свете Тихий».



МІР БОЖІЙ

Мір Божій, мір Божій,
На сказку схожий...
Вдруг вздрогнет прохожий,
Красой заморожен...
Сквозь плиты и камни,
И мусор отхожий,
Как солнце сквозь тьму
Проступает мір Божій.
Цветком несказанным,
Денёчком пригожим,
Дождинкой серебряной,
Громом тревожным...
Он все ещё с нами.
Таинственно вложен
В канву нашей жизни
Волшебный мір Божій!

В.К. НЕВЯРОВИЧ

11.12.2016 г. Россия.

ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ И ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ

- Пустите меня, я хочу сама править! Я сяду рядом с ямщиком! - говорила громко Софья Львовна. - Ямщик, погоди, я сяду с тобой на козлы.

Она стояла в санях, а ее муж Владимир Никитич и друг детства Владимир Михайлыч держали ее за руки, чтобы она не упала. Тройка неслась быстро.

- Я говорил, не следовало давать ей коньяку, - шепнул с досадой Владимир Никитич своему спутнику. - Экий ты, право!

Полковник знал по опыту, что у таких женщин, как его жена Софья Львовна, вслед за бурною, немножко пьяною веселостью обыкновенно наступает истерический смех и потом плач. Он боялся, что теперь, когда они приедут домой, ему, вместо того чтобы спать, придется возиться с компрессами и каплями.

- Тпрр! - кричала Софья Львовна. - Я хочу править!

Она была искренно весела и торжествовала. В последние два месяца, с самого дня свадьбы, ее томила мысль, что она вышла за полковника Ягича по расчету; сегодня же в загородном ресторане она убедилась наконец, что любит его страстно. Несмотря на свои пятьдесят четыре года, он был так строен, ловок, гибок, так мило каламбурил и подпевал цыганкам. Право, теперь старики в тысячу раз интереснее молодых, и похоже на то, как будто старость и молодость поменялись своими ролями. Полковник старше ее отца на два года, но может ли это обстоятельство иметь какое-нибудь значение, если, говоря по совести, жизненной силы, бодрости и свежести в нем неизмеримо больше, чем в ней самой, хотя ей только двадцать три года?

«О, мой милый! - думала она. - Чудный!» В ресторане она также убедилась, что от прежнего чувства в ее душе не осталось даже искры. К другу детства Владимиру Михайлычу, или, попросту, Володе, которого она еще вчера любила до сумасбродства, до отчаяния, теперь она чувствовала себя совершенно равнодушной. Сегодня весь вечер он казался ей вялым, сонным, неинтересным, ничтожным, и его хладнокровие, с каким он обыкновенно уклоняется от платежа по ресторанным счетам, на этот раз возмутило ее, и она едва удержалась, чтобы не сказать ему: «Если вы бедный, то сидите дома». Платил один только полковник.

Оттого, быть может, что в глазах у нее мелькали деревья, телеграфные столбы и сугробы, самые разнообразные мысли приходили ей в голову. Она думала: по счету в ресторане уплачено сто двадцать и цыганам - сто, и завтра она, если захочет, может бросить на ветер хоть тысячу рублей, а два месяца назад, до свадьбы, у нее не было и трех рублей собственных, и за каждым пустяком приходилось обращаться к отцу. Какая перемена в жизни!

Мысли у нее путались, и она вспоминала, как полковник Ягич, ее теперешний муж, когда ей было лет десять, ухаживал за тетей, и все в доме говорили, что он погубил ее, и в самом деле тетя часто выходила к обеду с заплаканными глазами и все куда-то уезжала, и говорили про нее, что она, бедняжка, не находит себе места. Он был тогда очень красив и имел необычайный успех у женщин, так что его знал весь город, и рассказывали про него, будто он каждый день ездил с визитами к своим поклонницам, как доктор к больным. И теперь, даже несмотря на седину, морщины и очки, иногда его худощавое лицо, особенно в профиль, кажется прекрасным.

Отец Софьи Львовны был военным доктором и служил когда-то в одном полку с Ягичем. Отец Володи тоже был военным доктором и тоже служил когда-то в одном полку с ее отцом и с Ягичем. Несмотря на любовные приключения, часто очень сложные и беспокойные, Володя учился прекрасно; он кончил курс в университете с большим успехом и теперь избрал своею специальностью иностранную литературу и, как говорят, пишет диссертацию. Живет он в казармах, у своего отца, военного доктора, и не имеет собственных денег, хотя ему уже тридцать лет. В детстве Софья Львовна и он жили в разных квартирах, но под одною крышей, и он часто приходил к ней играть, и их вместе учили танцевать и говорить по-французски; но когда он вырос и сделался стройным, очень красивым юношей, она стала стыдиться его, потом полюбила безумно и любила до последнего времени, пока не вышла за Ягича. Он тоже имел необыкновенный успех у женщин, чуть ли не с четырнадцати лет, и дамы, которые для него изменяли своим мужьям, оправдывались тем, что Володя маленький. Про него недавно кто-то рассказывал, будто бы он, когда был студентом, жил в номерах, поближе к университету, и всякий раз, бывало, как постучишься к нему, то слышались за дверью его шаги и затем извинение вполголоса: «Pardon, je ne suis pas seul». Ягич приходил от него в восторг и благословлял его на дальнейшее, как Державин Пушкина, и, по-видимому, любил его. Оба они по целым часам мол-

ча играли на бильярде или в пикет, и если Ягич ехал куда-нибудь на тройке, то брал с собою и Володю, и в тайны своей диссертации Володя посвящал только одного Ягича. В первое время, когда полковник был помоложе, они часто попадали в положение соперников, но никогда не ревновали друг к другу. В обществе, где они бывали вместе, Ягича прозвали Володей большим, а его друга - Володей маленьким.

В санях, кроме Володи большого, Володи маленького и Софьи Львовны, находилась еще одна особа - Маргарита Александровна, или, как ее все звали, Рита, кузина госпожи Ягич, девушка уже за тридцать, очень бледная, с черными бровями, в *rinse-nez*, курившая папиросы без передышки, даже на сильном морозе; всегда у нее на груди и на коленях был пепел. Она говорила в нос, растягивая каждое слово, была холодна, могла пить ликеры и коньяк, сколько угодно, и не пьянела, и двусмысленные анекдоты рассказывала вяло, безвкусно. Дома она от утра до вечера читала толстые журналы, обсыпая их пеплом, или кушала мороженые яблоки.

- Соня, перестань беситься, - сказала она нараспев. - Право, глупо даже.

В виду заставы тройка понеслась тише, замелькали дома и люди, и Софья Львовна присмирела, прижалась к мужу и вся отдалась своим мыслям. Володя маленький сидел против. Теперь уже к веселым, легким мыслям стали примешиваться и мрачные. Она думала: этому человеку, который сидит напротив, было известно, что она его любила, и он, конечно, верил разговорам, что она вышла за полковника *par dépit*. Она еще ни разу не признавалась ему в любви и не хотела, чтобы он знал, и скрывала свое чувство, но по лицу его видно было, что он превосходно понимал ее - и самолюбие ее страдало. Но в ее положении унизительнее всего было то, что после свадьбы этот Володя маленький вдруг стал обращать на нее внимание, чего раньше никогда не бывало, просиживал с ней по целым часам молча или болтая о пустяках, и теперь в санях, не разговаривая с нею, он слегка наступал ей на ногу и пожимал руку; очевидно, ему того только и нужно было, чтобы она вышла замуж; и очевидно было, что он презирает ее и что она возбуждает в нем интерес лишь известного свойства, как дурная и непорядочная женщина. И когда в ее душе торжество и любовь к мужу мешались с чувством унижения и оскорбленной гордости, то ею овладевал задор и хотелось тогда сесть на козлы и кричать, подсвистывать...

Как раз в то самое время, когда проезжали мимо женского монастыря, раздался удар большого тысячепудового колокола. Рита перекрестилась.

- В этом монастыре наша Оля, - сказала Софья Львовна и тоже перекрестилась и вздрогнула.

- Зачем она пошла в монастырь? - спросил полковник.

- *Par dépit*, - сердито ответила Рита, очевидно намекая на брак Софьи Львовны с Ягичем. - Теперь в моде это *par dépit*. Вызов всему свету. Была хохотушка, отчаянная кокетка, любила только балы да кавалеров и вдруг - на, поди! Удивила!

- Это неправда, - сказал Володя маленький, опуская воротник шубы и показывая свое красивое лицо. - Тут не *par dépit*, а сплошной ужас, если хотите. Ее брата, Дмитрия, сослали в каторжные работы, и теперь неизвестно, где он. А мать умерла с горя.

Он опять поднял воротник.

- И хорошо сделала Оля, - добавил он глухо. - Жить на положении воспитанницы, да еще с таким золотом, как Софья Львовна, - тоже подумать надо!

Софья Львовна услышала в его голосе презрительный тон и хотела сказать ему дерзость, но промолчала. Ею опять овладел тот же задор; она поднялась на ноги и крикнула плачущим голосом:

- Я хочу к утрине! Ямщик, назад! Я хочу Олю видеть!

Повернули назад. Звон монастырского колокола был густой, и, как казалось Софье Львовне, что-то в нем напоминало об Оле и ее жизни. Зазвонили и в других церквях. Когда ямщик осадил тройку, Софья Львовна выскочила из саней и одна, без провожатого, быстро пошла к воротам.

- Скорей, пожалуйста! - крикнул ей муж. - Уже поздно!

Она прошла темными воротами, потом по аллее, которая вела от ворот к главной церкви, и снежок хрустел у нее под ногами, и звон раздавался уже над самою головой и, казалось, проникал во все ее существо. Вот церковная дверь, три ступеньки вниз, затем притвор с изображениями святых по обе стороны, запах можжевельником и ладаном, опять дверь, и темная фигурка отворяет ее и кланяется низко-низко... В церкви служба еще не начиналась. Одна монашенка ходила около иконостаса и зажигала свечи на ставниках, другая зажигала паникадило. Там и сям, ближе к колоннам и боковым приделам, стояли неподвижно черные фигуры. «Значит, как они стоят теперь, так уж не сойдут до самого утра», - подумала Софья Львовна, и ей показалось тут темно, холодно, скучно, - скучнее, чем на кладбище. Она с чувством скуки поглядела на

неподвижные, застывшие фигуры, и вдруг сердце у нее сжалось. Почему-то в одной из монашенок, небольшого роста, с худенькими плечами и с черною косынкой на голове она узнала Олю, хотя Оля, когда уходила в монастырь, была полная и как будто повыше. Нерешительно, сильно волнуясь отчего-то, Софья Львовна подошла к послушнице и через плечо поглядела ей в лицо, и узнала Олю.

- Оля! - сказала она и всплеснула руками, и уж не могла говорить от волнения. - Оля!

Монашенка тотчас же узнала ее, удивленно подняла брови, и ее бледное, недавно умытое, чистое лицо и даже, как показалось, ее белый платочек, который виден был из-под косынки, просияли от радости.

- Вот Господь чудо послал, - сказала она и тоже всплеснула своими худыми, бледными ручками.

Софья Львовна крепко обняла ее и поцеловала, и боялась при этом, чтобы от нее не пахло вином.

- А мы сейчас ехали мимо и вспомнили про тебя, - говорила она, запыхавшись, как от быстрой ходьбы. - Какая ты бледная, Господи! Я... я очень рада тебя видеть. Ну, что? Как? Скучаешь?

Софья Львовна оглянулась на других монахинь и продолжала уже тихим голосом:

- У нас столько перемен... Ты знаешь, я замуж вышла за Ягича, Владимира Никитича. Ты его помнишь, наверное... Я очень счастлива с ним.

- Ну, слава Богу. А папа твой здоров?

- Здоров. Часто про тебя вспоминает. Ты же, Оля, приходи к нам на праздниках. Слышишь?

- Приду, - сказала Оля и усмехнулась. - Я на второй день приду.

Софья Львовна, сама не зная отчего, заплакала и минутку плакала молча, потом вытерла глаза и сказала:

- Рита будет очень жалеть, что тебя не видела. Она тоже с нами. И Володя тут. Они около ворот. Как бы они были рады, если бы ты повидалась с ними! Пойдем к ним, ведь служба еще не начиналась.

- Пойдем, - согласилась Оля.

Она перекрестилась три раза и вместе с Софьей Львовной пошла к выходу.

- Так ты говоришь, Сонечка, счастлива? - спросила она, когда вышли за ворота.

- Очень.

- Ну, слава Богу.

Володя большой и Володя маленький, увидев монашенку, вышли из саней и почтительно поздоровались; оба были заметно тронуты, что у нее бледное лицо и черное монашеское платье, и обоим было приятно, что она вспомнила про них и пришла поздороваться.

Чтобы ей не было холодно, Софья Львовна укутала ее в плед и прикрыла одною полую своей шубы. Недавние слезы облегчили и прояснили ей душу, и она была рада, что эта шумная, беспокойная и в сущности нечистая ночь неожиданно кончилась так чисто и кротко. И чтобы удержать подольше около себя Олю, она предложила:

- Давайте ее прокатим! Оля, садись, мы немножко.

Мужчины ожидали, что монашенка откажется, - святые на тройках не ездят, - но к их удивлению она согласилась и села в сани. И когда тройка помчалась к заставе, все молчали и только старались, чтобы ей было удобно и тепло, и каждый думал о том, какая она была прежде и какая теперь. Лицо у нее теперь было бесстрастное, мало выразительное, холодное и бледное, прозрачное, будто в жилах ее текла вода, а не кровь. А года два-три назад она была полной, румяной, говорила о женихах, хохотала от малейшего пустяка...

Около заставы тройка повернула назад; когда она минут через десять остановилась около монастыря, Оля вышла из саней. На колокольне уже перезванивали.

- Спаси вас Господи, - сказала Оля и низко, по-монашески поклонилась.

- Так ты же приходи, Оля.

- Приду, приду.

Она быстро пошла и скоро исчезла в темных воротах. И после этого почему-то, когда тройка поехала дальше, стало грустно-грустно. Все молчали. Софья Львовна почувствовала во всем теле слабость и пала духом; то, что она заставила монашенку сесть в сани и прокатиться на тройке, в нетрезвой компании, казалось ей уже глупым, бестактным и похожим на кошунство; вместе с хмелем у нее прошло и желание обманывать себя, и для нее уже ясно было, что мужа своего она не любит и любить не может, что все вздор и глупость. Она вышла из расчета, пото-

му что он, по выражению ее институтских подруг, безумно богат и потому что ей страшно было оставаться в старых девах, как Рита, и потому, что надоел отец-доктор и хотелось досадить Володе маленькому. Если бы она могла предположить, когда выходила, что это так тяжело, жутко и безобразно, то она ни за какие блага в свете не согласилась бы венчаться. Но теперь беды не поправишь. Надо мириться.

Приехали домой. Ложась в теплую мягкую постель и укрываясь одеялом, Софья Львовна вспомнила темный притвор, запах ладана и фигуры у колонн, и ей было жутко от мысли, что эти фигуры будут стоять неподвижно все время, пока она будет спать. Утренняя будет длинная-длинная, потом часы, потом обедня, молебен...

«Но ведь Бог есть, наверное есть, и я непременно должна умереть, значит, надо рано или поздно подумать о душе, о вечной жизни, как Оля. Оля теперь спасена, она решила для себя все вопросы... Но если Бога нет? Тогда пропала ее жизнь. То есть как пропала? Почему пропала?»

А через минуту в голову опять лезет мысль: «Бог есть, смерть непременно придет, надо о душе подумать. Если Оля сию минуту увидит свою смерть, то ей не будет страшно. Она готова. А главное, она уже решила для себя вопрос жизни. Бог есть... да... Но неужели нет другого выхода, как только идти в монастырь? Ведь идти в монастырь - значит отречься от жизни, погубить ее...»

Софье Львовне становилось немножко страшно; она спрятала голову под подушку.

- Не надо об этом думать, - шептала она. - Не надо...

Ягич ходил в соседней комнате по ковру, мягко звеня шпорами, и о чем-то думал. Софье Львовне пришла мысль, что этот человек близок и дорог ей только в одном: его тоже зовут Владимиром. Она села на постель и позвала нежно:

- Володя!

- Что тебе? - отозвался муж.

- Ничего.

Она опять легла. Послышался звон, быть может, тот же самый монастырский, припомнились ей опять притвор и темные фигуры, забродили в голове мысли о Боге и неизбежной смерти, и она укрывалась с головой, чтобы не слышать звона; она сообразила, что прежде чем наступят старость и смерть, будет еще тянуться длинная-длинная жизнь, и изо дня в день придется считаться с близостью нелюбимого человека, который вот пришел уже в спальню и ложится спать, и придется душить в себе безнадежную любовь к другому - молодому, обаятельному и, как казалось ей, необыкновенному. Она взглянула на мужа и хотела пожелать ему доброй ночи, но вместо этого вдруг заплакала. Ей было досадно на себя.

- Ну, начинается музыка! - проговорил Ягич, делая ударение на «зы».

Она успокоилась, но поздно, только к десятому часу утра; она перестала плакать и дрожать всем телом, но зато у ней начиналась сильная головная боль. Ягич торопился к поздней обедне и в соседней комнате ворчал на денщика, который помогал ему одеваться. Он вошел в спальню раз, мягко звеня шпорами, и взял что-то, потом в другой раз - уже в эполетах и орденах, чуть-чуть прихрамывая от ревматизма, и Софье Львовне показалось почему-то, что он ходит и смотрит как хищник.

Она слышала, как Ягич позвонил у телефона.

- Будьте добры, соедините с Васильевскими казармами! - сказал он; а через минуту: - Васильевские казармы? Пригласите, пожалуйста, к телефону доктора Салимовича... - И еще через минуту: - С кем говорю? Ты, Володя? Очень рад. Попроси, милый, отца приехать сейчас к нам, а то моя супруга сильно расклеилась после вчерашнего. Нет дома, говоришь? Гм... Благодарю. Прекрасно... премного обяжешь... Mercі.

Ягич в третий раз вошел в спальню, нагнулся к жене, перекрестил ее, дал ей поцеловать свою руку (женщины, которые его любили, целовали ему руку, и он привык к этому) и сказал, что вернется к обеду. И вышел.

В двенадцатом часу горничная доложила, что пришли Владимир Михайлыч. Софья Львовна, пошатываясь от усталости и головной боли, быстро надела свой новый удивительный капот сиреневого цвета, с меховой обшивкой, наскоро кое-как причесалась; она чувствовала в своей душе невыразимую нежность и дрожала от радости и страха, что он может уйти. Ей бы только взглянуть на него.

Володя маленький пришел с визитом, как следует, во фраке и в белом галстуке. Когда в гостиную вошла Софья Львовна, он поцеловал у нее руку и искренно пожалел, что она нездорова. Потом, когда сели, похвалил ее капот.

- А меня расстроило вчерашнее свидание с Олей, - сказала она. - Сначала мне было жутко, но теперь я ей завидую. Она - несокрушимая скала, ее с места не сдвинешь; но неужели, Воло-

дя, у нее не было другого выхода? Неужели погребать себя заживо значит решать вопрос жизни? Ведь это смерть, а не жизнь.

При воспоминании об Оле на лице у Володи маленького показалось умиление.

- Вот вы, Володя, умный человек, - сказала Софья Львовна, - научите меня, чтобы я поступила точно так же, как она. Конечно, я неверующая и в монастырь не пошла бы, но ведь можно сделать что-нибудь равносильное. Мне не легко живется, - продолжила она, помолчав немного. - Научите же... Скажите мне что-нибудь убедительное. Хоть одно слово скажите.

- Одно слово? Извольте: тарарабумбия.

- Володя, за что вы меня презираете? - спросила она живо. - Вы говорите со мной каким-то особенным, простите, фатовским языком, как не говорят с друзьями и с порядочными женщинами. Вы имеете успех как ученый, вы любите науку, но отчего вы никогда не говорите со мной о науке? Отчего? Я недостойна?

Володя маленький досадливо поморщился и сказал:

- Отчего это вам так вдруг науки захотелось? А, может, хотите конституции? Или, может, севрюжины с хреном?

- Ну, хорошо, я ничтожная, дрянная, беспринципная, недалекая женщина... У меня тьма, тьма ошибок, я психопатка, испорченная, и меня за это презирать надо. Но ведь вы, Володя, старше меня на десять лет, а муж старше меня на тридцать лет. Я росла на ваших глазах, и если бы вы захотели, то могли бы сделать из меня всё, что вам угодно, хоть ангела. Но вы... (голос у нее дрогнул) поступаете со мной ужасно. Ягич женился на мне, когда уже постарел, а вы...

- Ну, полно, полно, - сказал Володя, садясь поближе и целуя ей обе руки. - Предоставим Шопенгауэрам философствовать и доказывать всё, что им угодно, а сами будем целовать эти ручки.

- Вы меня презираете и если б вы знали, как я страдаю от этого! - сказала она нерешительно, заранее зная, что он ей не поверит. - А если б вы знали, как мне хочется измениться, начать новую жизнь! Я с восторгом думаю об этом, - проговорила она и в самом деле прослезилась от восторга. - Быть хорошим, честным, чистым человеком, не лгать, иметь цель в жизни.

- Ну, ну, ну, пожалуйста, не ломайтесь! Не люблю! - сказал Володя, и лицо его приняло капризное выражение. - Ей-богу, точно на сцене. Будем держать себя по-человечески.

Чтобы он не рассердился и не ушел, она стала оправдываться и в угоду ему насильно улыбнулась, и опять заговорила об Оле, и про то, как ей хочется решить вопрос своей жизни, стать человеком.

- Тара...ра...бумбия... - запел он вполголоса. - Тара...ра...бумбия!

И неожиданно взял ее за талию. А она, сама не зная, что делает, положила ему на плечи руки и минуту с восхищением, точно в чадую каком-то, смотрела на его умное, насмешливое лицо, лоб, глаза, прекрасную бороду...

- Ты сам давно знаешь, я люблю тебя, - созналась она ему и мучительно покраснела, и почувствовала, что у нее даже губы судорожно покривились от стыда. - Я тебя люблю. Зачем же ты меня мучаешь?

Она закрыла глаза и крепко поцеловала его в губы, и долго, пожалуй, с минуту, никак не могла кончить этого поцелуя, хотя знала, что это неприлично, что он сам может осудить ее, может войти прислуга...

- О, как ты меня мучаешь! - повторила она.

Когда через полчаса он, получивший то, что ему нужно было, сидел в столовой и закусывал, она стояла перед ним на коленях и с жадностью смотрела ему в лицо, и он говорил ей, что она похожа на собачку, которая ждет, чтоб ей бросили кусочек ветчины. Потом он посадил ее к себе на одно колено и, качая как ребенка, запел:

- Тара... рабумбия... Тара... рабумбия!

А когда он собрался уходить, она спрашивала его страстным голосом:

- Когда? Сегодня? Где?

И она протянула к его рту обе руки, как бы желая схватить ответ даже руками.

- Сегодня едва ли это удобно, - сказал он, подумав. - Вот разве завтра.

И они расстались. Перед обедом Софья Львовна поехала в монастырь к Оле, но там сказали ей, что Оля где-то по покойнике читает псалтирь. Из монастыря она поехала к отцу и тоже не застала дома, потом переменяла извозчика и стала ездить по улицам и переулкам без всякой цели, и каталась так до вечера. И почему-то при этом вспоминалась ей та самая тетя с заплаканными глазами, которая не находила себе места.

А ночью опять катались на тройках и слушали цыган в загородном ресторане.

И когда опять проезжали мимо монастыря, Софья Львовна вспоминала про Олю, и ей становилось жутко от мысли, что для девушек и женщин ее круга нет другого выхода, как не переставая кататься на тройках и лгать, или же идти в монастырь, убивать плоть... А на другой день было свидание, и опять Софья Львовна ездил по городу одна на извозчике и вспоминала про тетю.

Через неделю Володя маленький бросил ее. И после этого жизнь пошла по-прежнему, такая же неинтересная, тоскливая и иногда даже мучительная. Полковник и Володя маленький играли подолгу на бильярде и в пикет, Рита безвкусно и вяло рассказывала анекдоты, Софья Львовна все ездил на извозчике и просила мужа, чтобы он покатал ее на тройке.

Заязжая почти каждый день в монастырь, она надоедала Оле, жаловалась ей на свои невыносимые страдания, плакала и при этом чувствовала, что в келью вместе с нею входило что-то нечистое, жалкое, поношенное, а Оля машинально, тоном заученного урока говорила ей, что всё это ничего, всё пройдет и Бог простит.

А.П. ЧЕХОВ.

*Лучшее окончание
спора с женщиной -
притвориться мертвым.*



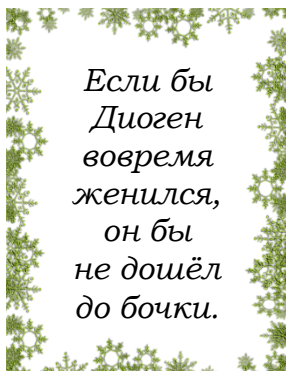
*Дружба - чем старше,
тем крепче.
Любовь - чем крепче,
тем моложе.*



Тихой ночью поздний месяц...

Тихой ночью поздний месяц вышел
Из-за черных лип.
Дверь балкона скрипнула,- я слышал
Этот легкий скрип.
В глупой ссоре мы одни не спали,
А для нас, для нас
В темноте аллея цветы дышали
В этот сладкий час.
Нам тогда - тебе шестнадцать было,
Мне семнадцать лет,
Но ты помнишь, как ты отворила
Дверь на лунный свет?
Ты к губам платочек прижимала,
Смокшийся от слез,
Ты, рыдая и дрожа, роняла
Шпильки из волос,
У меня от нежности и боли
Разрывалась грудь...
Если б, друг мой, было в нашей воле
Эту ночь вернуть!

Иван Бунин.



*Если бы
Диоген
вовремя
женился,
он бы
не дошёл
до бочки.*



Прощальное письмо, последнее «Пока».
Расстаться легче нам, не подавая руки.
Ты стала мне опять чужда и далека,
Я вновь один ловлю тиши дрожащей звуки.

Сияние луны, мерцанье дальних звёзд
Внезапно и навек в моих глазах поблекли.
Пылает и трещит надежд последний мост,
И нет пути назад в его крошечном пекле.

Наверное, вина лежит на мне одном...
Я словно как венком терновым ей увенчан.
Теперь уж эту боль не залечить теплом,
В объятиях других и нелюбимых женщин.

21-12-2012

Александр Скворцов.
Германия.

Японские Хайку

Звезда за звездой
мотыльки над костром,
падают и сгорают.

Общая кухня
в руках по паре гвоздик,
собрание без слов.

Облака в озере
журавли на горизонте,
плывут и плывут.

В тумане
стрелки в камышах,
писк комариный.

Звенит в переходе
монета за монетой,
чьё-то счастье.

На берегу рыбаки
на льдине машины и снасти,
золотая рыбалка.

Евгений Кульба. Россия.

ЖИЗНЬ ПОЭТА

1915 - 1979

В феврале 1942 года, когда под ударами советских войск гитлеровцы откатились от Москвы, газета Правда опубликовала лирическое стихотворение, которое сразу завоевало сердца наших солдат. Это было стихотворение «**Жди меня**». Солдаты вырезали его из газеты, переписывали, сидя в окопах, заучивали наизусть и посылали в письмах женам и невестам. Его находили в нагрудных карманах раненых и убитых бойцов. В истории русской поэзии трудно найти стихотворение, которое бы имело такое же широкое звучание в народе, как «**Жди меня**». Оно сделало всемирно известным офицера Советской Армии, русского поэта **Константина Симонова**.



К. Симонов.

Вступление от составителя сборника «Избранные стихотворения Симонова», 1964 г.

С Интернета - <http://www.simonov.co.uk/zhiznpoeta.htm>

«Жди меня» до сих пор остаётся одним из двух-трёх наиболее известных стихотворений на русском языке. В наши дни его часто пародируют. Сейчас в пост-советской России человеку, написавшему это стихотворение, угрожает забвение, словно пережитку своего времени; однако он достоин гораздо лучшей участи. Этот сайт посвящён его поэтическим достижениям.

Кирилл Михайлович Симонов родился в 1915 году в Санкт-Петербурге. Его отцу, армейскому офицеру, было суждено вскоре погибнуть на войне. Его мать, урождённая **кн. Александра Оболенская**, принадлежала к небогатой, хотя и одной из самых старинных аристократических семей. После смерти супруга она вышла замуж за другого офицера, Александра Ивановича. Отчим Кирилла участвовал в русско-японской войне 1905 года, а в первую мировую войну был ранен и пострадал в газовой атаке. После революции, будучи профессиональным военным, хотя и негодным для несения действительной службы, он вступил в Красную армию и стал преподавателем в военном училище в Рязани.



Самые ранние воспоминания Симонова - о казарменной жизни. Его отчим был приверженцем строгой дисциплины, для него всё имело своё время и место. Но в то же время, влияние Оболенских влекло Кирилла в другую сторону. В ленинградском доме своей тётки Софьи Оболенской, работницы библиотеки, он написал первое стихотворение.

Симонов рос в Советском Союзе тридцатых годов, когда людям, незнакомым с тёмной стороной того времени, казалось, что расцветает новая жизнь и вокруг появляются новые возможности. Ребёнком и подростком Кирилл всем сердцем верил в новое советское общество, однако, скорее всего, он осознавал, что вследствие своего происхождения полностью этому обществу не принадлежит. Возможно, именно поэтому после получения семилетнего образования Симонов оставил школу и стал искать себе место в индустриализирующейся России - начал учиться на токаря.

Его оптимистический взгляд на новую Россию вскоре подвергся суровому испытанию. Почти сразу после ухода Кирилла из школы его отчим был арестован, а он сам и его мать были выселены из квартиры. Спустя шесть месяцев, Иваничев был освобождён и реабилитирован - произошла «ошибка». Тем не менее, в результате этого события старый военный служащий уволился из армии и устроился на гражданскую работу в Москве. Кирилл также нашёл работу в Москве и сумел опубликовать несколько стихотворений. По совету издателя, он поступил в Литературный Институт имени Горького.

Последующие пять лет были драматичными как для России, так и для Симонова. К 1940 году, будучи в возрасте 25 лет и уже сменив своё имя на Константина (имя особенно распро-

странённое в семье Оболенских), он утвердился как поэт и драматург. Однако та Россия, которая поддерживала поэта и была созвучна его таланту, в те годы проходила сквозь ужас репрессий. В 1935 году большая часть оставшегося в Ленинграде семейства Оболенских, включая любимую Симоновым тётю, была депортирована на восток, в Оренбург, где она с сестрой впоследствии была арестована. Обе они умерли в тюрьме в 1937.

В предвоенные годы юный Симонов был честолюбив; теоретически он страстно верил в идеалы коллективизма, однако в реальной жизни отнюдь не был в полной гармонии с новой Россией, в которой оказался. Это можно понять из его самых интересных ранних стихов. Стихотворение «Часы дружбы» рассказывает о сне. В нём - кошмарное воспоминание об одиночестве, всплывшее в памяти: пустой мир, где, казалось, немногие дети проживали более нескольких недель. По крайней мере, так считает лирический герой, но странный старец разъясняет истинное положение вещей:

Сказал: «Ты ошибаешься, прохожий,
Здесь до глубокой старости живут,
Здесь сверстники мои лежат в могилах,
Ты надписи неправильно прочел -
У нас другое летоисчисленье:
Мы измеряем, долго ли ты жил,
Не днями жизни, а часами дружбы».

В таком случае, полагает поэт, он и сам не прожил бы больше:

Если так считать -
Боюсь, не каждый доживет до года!

В стихотворении «Однополчане», написанном примерно в то же время, поэт сознательно отворачивается от своих прежних друзей, в пользу тех, с кем он надеется испытать настоящую дружбу на войне:

Не те, с которыми зубрили	Мы с ними не пивали чая,
За партой первые азы,	Хлеб не делили пополам,
Не те, с которыми мы брили	Они, меня не замечая,
Едва заметные усы.	Идут по собственным делам

Но будет день - и по развёрстке
В окоп мы рядом попадём.

Поэт предчувствует, что грядущая война (шёл 1938 год) придаст дружбе истинное значение; наконец-то он почувствует себя частью настоящего братства.

Святая ярость наступления,	Завяжут наше поколение
Боёв жестокая страда	В железный узел, навсегда.

Симонов уже чётко осознавал неизбежность войны с Германией - в какой-то мере даже ожидая её с нетерпением. Впрочем, война в его представлении в первую очередь отождествлялась с присущими ей воинскими моральными ценностями. Когда появилась необходимость выбора между двумя чётко выраженными идеологическими лагерями - как, например, в гражданскую войну в Испании - у поэта не возникло даже тени сомнения в том, чью сторону он займёт. Вместе с тем, Симонов искренне сопереживает патриотизму других, даже тех, кто в прошлом посягал на Россию. В стихотворении «Английское военное кладбище в Севастополе» поэт сочувствует британцам, погибшим в Крымской войне, и потребности павших сохранить связь с родиной - потребности, которую уважало их правительство:

Солдатам на чужбине лучше спится,	Обложены английской черепицей,
Когда холмы у них над головой	Обсажены английскою травой.

Напротив, в стихотворении, лучшем из ранних стихов Симонова, поэт показывает, что отвага и патриотизм русского солдата не всегда почитались его правительством. Поручик - старый служака, подобный Иванищеву или тётке поэта - библиотекарьше, за свою службу получает мало признательности. Он командует отдалённой российской заставой на Камчатке и не знает о начале Крымской войны. Неожиданно его крепость оказывается под обстрелом кораблей военно-морских сил Великобритании. Нанеся городу большой урон, флотилия направляет в кре-

пость офицера с требованием сдаться. Но даже зная о том, что удерживаемый «клочок земли» мало чего стоит, и осознавая силу противника, поручик принимает решение не прекращать сопротивление.

Атака британцев терпит крах, флотилия отступает, павшие похоронены, а крыши домов залатаны. И только потом, с задержкой на год, приходят приказы из Петербурга. Застава должна быть подготовлена к войне и усилена; командование принимает новоприбывший капитан, а поручика отправляют в отставку:

Он все ходил по крепости, бедняга, Холодная казенная бумага,
Все медлил лезть на сходни корабля. Нелепая любимая земля...

Поэта ожидало дальнейшее разочарование. Впервые он столкнулся с подлинной реальностью войны под конец советско-японской кампании 1939 года, когда был направлен в Монголию в качестве военного корреспондента. Его главными ощущениями были сострадание к поверженному врагу и восхищение им. Первое впечатление о военной действительности, по словам Симонова, осталось после сцены в штабной палатке, где офицеры изучали захваченные у японцев документы. На полу валялись отброшенные ими материалы, среди которых - десятки фотокарточек жён и подруг японцев, которые улыбаясь «бумажной улыбкой», смотрели снизу вверх с фотографий - даже с «тех, что в крови».

Проникновенные стихи Халхин-Гола воспевают храбрость и дисциплинированность японцев и выражают сострадание к ним просто как к людям. В одном из стихотворений звучит вопрос: кто из солдат был самым храбрым? Японец, обезумевший от жажды, бежавший среди бела дня за водой? Или же тот, который выдержал семь ночей артобстрела? Нет, самым храбрым оказался тот военнопленный, который во время репатриации, под взглядами встречающих японских офицеров, помахал рукой на прощание тем, кто пленил его и залечил его раны.

Этот вывод - единственное место в стихотворении, где (не совсем убедительно), показано моральное превосходство российской стороны.

Ни одно из монгольских стихотворений не примечательно само по себе; они интересны тем, что выражают состояние души поэта. В 1939-40 годах перед нами предстаёт молодой Симонов, всё ещё амбициозный, всё ещё верящий, по крайней мере - теоретически, в идеалы коллективизма; однако его идеализм и честолюбие подрываются изнутри полубессознательными сомнениями и чрезмерной лёгкостью успеха. Сомнения (возможно, полусознанные догадки о негативной стороне реальности) - основывались на чистках, судьбе тёток и симпатии к противоположной точке зрения. Успех же слишком легко достался поэту, и легко пришел к Красной армии (так казалось ему, не присутствовавшему на ранней, более тяжёлой фазе монгольской кампании).

Идеализму и честолюбию необходимо преодолевать трудности - успех не должен достигаться слишком просто. Но эти чувства могут принимать и иную форму, при которой возникает меньше сомнений, но добиться удачи отнюдь не легко. Константин Симонов страстно влюбился в прекрасную женщину, которой так и не было суждено полностью принадлежать ему - молодую актрису Валентину Серову.

Валентина в возрасте 21 года уже была восходящей звездой сцены и экрана. Недолгое время она была замужем за Анатолием Серовым, истребителем-асом, героем гражданской войны в Испании и сталинским любимцем, вскоре погибшим в авиационной катастрофе. Впоследствии у неё было несколько любовников, но никого она не любила так сильно, как Серова, и всю жизнь носила его фамилию.

Характер её отношений с Симоновым был хорошо описан в недавно вышедшей статье, написанной актрисой Татьяной Кравченко, несомненно, симпатизирующей Валентине:

В реальной истории любви Симонова и Серовой - как бы два сюжета (и они вполне прослеживаются по симоновским стихам). Один - событийный: там активное начало принадлежит Симонову. Он настаивает, ухаживает, добивается, а она лишь поддается или не поддается, отвечает или не отвечает. Другой сюжет - внутренний, собственно история любви. И здесь, как ни странно, с самого начала Валентина была ведущей, а Симонов - ведомым. Она задавала тон, он тянулся за ней. Она была с избытком наделена природой женским интуитивным умением быть любимой: чем больше даешь, тем крепче привязываешь, - и он учился у нее отдавать без оглядки, щедро, не требуя гарантий, не торгуясь, не считаясь.

Страсть? Да, конечно. Но опять-таки вопреки расхожим представлениям, не только ночь и постель связывали этих двоих. Страсть, как жажда, проходит после утоления. Просто красивая,

просто сексапильная женщина вряд ли стала бы единственной для такого человека, как Константин Симонов. Он именно любил в ней «две рядом живущих души». Тело она отдавала с легкостью, душа же принадлежала только ей. А ему хотелось завоевать ее душу.

(<http://www.ng.ru/style/1999-09-11/lyubov.html>)

Всё описанное Кравченко и многое другое действительно есть в поэзии. Симонов был одержим Валентиной:

Пусть прокляну впоследствии	Нет друга, нет товарища,
Твои черты лица,	Чтоб среди бела дня
Любовь к тебе - как бедствие,	Из этого пожарища
И нет ему конца.	Мог вытащить меня.

Отчаявшись в спасении
И бредя наяву,
Как при землетрясении
Я при тебе живу.

Тем не менее, в следующих строках этого стихотворения, написанного в 1942 году, говорится:

Когда ж от наваждения	Зачем считать грехи её?
Себя освобожу,	Ведь, не добра, не зла,
В ответ на осуждения	Не женщиной - стихиею
Я про себя скажу:	Вблизи она прошла.

И, грозный шаг заслыша, я
Пошёл грозу встречать,
Не став, как вы, под крышею
Её пережидать.

Отчуждение, красной нитью проходящее через этот отрывок, стало возможным благодаря войне. Если бы не гитлеровское вторжение и его катастрофические последствия, Валентина возможно сломала бы Симонову жизнь. В июне сорок первого выяснилось, что для поэта существовало нечто даже более важное, чем Серова. И увы, в конце концов сломанной оказалась её жизнь.

Нападение врага неожиданно прекратило все внутренние колебания Симонова. Поэт наконец с полной уверенностью осознал, по какому жизненному пути должен идти дальше, и почувствовал полное единение с обществом, к которому принадлежал. Он был бесстрашным солдатом, посвятившим себя изгнанию противника и достижению победы в войне. К тому же, Симонову повезло в том, что оружием, доверенным ему для борьбы с Гитлером, поэт владел в совершенстве. Этим оружием было его перо.

Уже в первый год войны Симонов стремительно взлетел на небывалую высоту как военно-патриотический поэт. Своими стихами, пьесами, фильмами и прозой он внёс значительный вклад в восстановление боевого духа советского народа, потрясенного вторжением немецких захватчиков.

Как выражение собственных чувств поэта, наиболее знаменитое его стихотворение «Жди меня» было не более чем минутным самообманом: Симонов знал, что Валентина вряд ли станет долго ждать. Но для бессчётного числа других солдат и их близких (как и для него самого) оно выражало то, во что хотелось верить. И именно как выражение веры народа это стихотворение имело чрезвычайное значение.

Можно провести аналогию Симонова с английским военным поэтом Рупертом Бруком, погибшим в 1915 году и почти столь же знаменитым в свое время. Хотя Брук в целом был прекрасным поэтом, его самое известное стихотворение, имевшее во время публикации наибольший резонанс, по тематике значительно отличается от симоновского:

If I should die, think only this of me
That there's some corner of a foreign field
Which is for ever England...

Поэт, мысли которого связаны с кладбищем, едва ли добьется победы. Действительно, Брук умер от лихорадки ещё до Галиполи. В сравнении с энергией и уверенностью Симонова,

настроение Брука кажется почти суицидальным - к сожалению, оно типично для военной поэзии младшего офицерского состава Британских войск, сверстников Брука (хотя Сэссун являлся ярким исключением).

В первые годы войны Симонов казался непоколебимым. Стихотворение «Если Бог нас Своим могуществом» было написано в осаждённой Одессе, где смерть смотрела ему в глаза. На её взгляд поэт ответил смехом, смиряясь с ней как с неизбежностью. Что бы он хотел взять с собой на небеса? Всё, что пережил или мог пережить на земле, даже смерть:

Даже смерть, если б было мыслимо,	И за эти земные корысти,
Я б на землю не отпустил,	Удивлённо меня кляня,
Всё, что к нам на земле причислено,	Я уверен, что Бог бы вскорости
В рай с собою бы захватил.	Вновь на землю столкнул меня.

Хотя Симонов и не мог надеяться на то, что его спасёт верность Валентины, он мог быть уверенным в том, что ему поможет выстоять собственная жажда жизни. И в отличие от многих других военных поэтов, Симонов действительно выжил.

Стихотворения 1941-1945 годов, в особенности те, что были адресованы Валентине, впоследствии включённые в сборник «С тобой и без тебя», скорее всего и явились основой поэтической славы Симонова. Лучшие из них выражают конфликт между двумя сильнейшими движущими силами его души: любовью к Валентине и воинским долгом перед Россией; кроме того, в них скрыто и упоение той целеустремлённостью, что была дарована ему обстоятельствами, и страх перед тем, какой будет жизнь без этих двух направляющих его стихий.

На мой взгляд, «Хозяйка дома» - величайшее из стихотворений Симонова. Нам предлагается представить поэта и его друзей (предположительно - таких же военных корреспондентов, как он сам), которые собираются в квартире Валентины, когда им выпадает такая возможность. Затем они расстаются, попадают на разные фронты; кто-то из них погибает. С каждым разом пришедших становится всё меньше. Цель стихотворения - убедить Валентину в том, что она права, когда в присутствии остальных друзей не выделяет поэта из их числа. Для них она стала идеалом, иконой, давала им поддержку в битве - они нуждались в Валентине. До самого конца вечеринки герой не ждёт и не получает никакого особого внимания от неё. Уйдя вместе с остальными, поэт тайно возвращается, и хозяйка принимает его уже как возлюбленного, но до этого - он просто один из равных.

Это правило устанавливается в первой части стихотворения; далее оно развивается. Что случится, если не вернётся именно он, поэт? И в этом случае хозяйка не должна выделять его из остальных, не омрачая радости встречи, сдерживая своё горе до конца вечеринки. Это порождает всепоглощающее душевное волнение: Валентина на самом деле в такой ситуации могла решить, что «шоу должно продолжаться». Ведь именно так она вела себя, когда погиб Серов. Это был день дебюта Валентины в новой комедии: она блистательно сыграла свою роль и лишь потом дала волю своему горю. Она - актриса.

Неверно было бы полагать, что события, описанные в стихотворении, происходили именно таким образом. Оно было написано в первую зиму войны, когда немецкая армия вплотную подошла к Москве. И хотя многие из коллег Симонова действительно гибли в то время, отсутствие на вечеринке не означало смерть или ранение: тем, кто оставался в живых, редко выпадала возможность собраться в одном месте. Описание одной из тех встреч, которые в действительности происходили, возможно, раз или два за тот отрезок времени, используется символически, чтобы показать противоречие между любовью и воинским долгом. И, несмотря на то, что в стихотворении этот конфликт как бы происходит в душе Валентины, он является проекцией противоречий в сознании поэта.

Кульминация стихотворения как никогда ярка и глубоко прочувствована:

Не отменяй с друзьями торжество. Что из того, что я тебе всех ближе, Что из того, что я любил, что из того, Что глаз твоих я больше не увижу?	Потом ты можешь помнить обо мне, Потом ты можешь плакать, если надо, И, встав к окну в холодной простыне, Просить у одиночества пощады.
Мы собирались здесь, как равные, потом Вдвоем - ты только мне была дана судьбою, Но здесь, за этим дружеским столом, Мы были все равны перед тобою.	Но здесь не смей слезами и тоской По мне по одному лишать последней чести Всех тех, кто вместе уезжал со мной И кто со мною не вернулся вместе.

Чувства, спроецированные на Валентину, принадлежат самому поэту; трагическое ощущение потери имеет иной источник и, скорее всего, связано с её неверностью - возможно, Симонов знал о начавшемся романе Валентины с будущим маршалом Рокоссовским. Стихотворение показывает, что несмотря на глубокие чувства, поэт сумел смириться со случившимся, принять его как часть судьбы, уготованной войной. Положительной составляющей стихотворения является не столько любовь Симонова к Валентине, сколько символический образ женщины, воплощенный ею, и чувство фронтового братства, присущее поэту и его друзьям. Даже после смерти они неким образом остаются едины.

Таким образом, идеал, который Симонов создал для себя в 1939-м:

Святая ярость наступления,
 Боёв жестокая страда
 Завяжут наше поколение
 В железный узел, навсегда...

...действительно, как он и предсказывал, был достигнут - хотя и страшной ценой.

Наиболее характерное для Симонова выражение обретённого единства и братства на войне присутствует в стихотворении «Дом в Вязьме», написанном в 1943-м году. Поэт и его товарищи делят ночлег в старом доме в Вязьме. Утром они расходятся - и кто-то не вернётся никогда. Дом становится символом их морального единства:

В ту ночь, готовясь умирать,	Как над добром дрожать своим.
Навек забыли мы, как лгать,	Хлеб пополам, кров пополам -
Как изменять, как быть скупым,	Так жизнь в ту ночь открылась нам.

Представляя запись этого стихотворения в Нью-Йорке в 1960 году, Симонов сказал:

Второе стихотворение о дружбе, да собственно не только о дружбе, но ещё и о тех мыслях, которые приходили тогда на войне, о том, как будет после войны, какими мы будем; как будем продолжать свою дружбу; не переменимся ли? Не станем ли хуже?

Этот символический дом будет восстановлен после войны. И если кто-либо предаст своих друзей, то будет в него сослан, чтобы вновь прочувствовать такое же давление душевных сил, как раньше:

Пусть посидит один в дому,	Как будто хлеба не даёт
Как будто завтра в бой ему,	Тому, кто вечером умрёт,
Как будто, если лжёт сейчас,	И палец подаёт тому,
Он, может, лжёт в последний раз,	Кто завтра жизнь спасёт ему.

Пусть вместо нас лишь горький стыд
 Ночь за столом с ним просидит.
 Мы, встретясь, по его глазам
 Прочтём: он был или не был там.

Если он опять почувствует духовную силу этого дома, то вновь займёт своё место среди друзей; в противном случае - его больше не будет в их числе.

Но испытанное в годы войны чувство братского единения не могло продолжаться в мирное время. Довольно долго, будучи весьма значительной фигурой в послевоенном советском литературном мире, Симонов верил в обратное. До тех пор, пока Хрущёв не раскрыл миру правду о сталинской эпохе, поэт продолжал верить в советские идеалы, несмотря на их очевидные недостатки. Впоследствии Симонов смог принять развенчание культа личности Сталина Хрущёвым и вновь ощутил торжество правды. Но в эпоху Брежнева, когда правда, которая теперь была всем известна, более не печаталась, жизнь для поэта стала терять смысл. Будучи в командировке во Вьетнаме, он попытался вновь вспомнить своё военное прошлое. Там Симонов на короткое время вернулся к написанию стихов - но не слишком успешно. В 1979 году, в возрасте лишь 64 лет, поэт умер.

Что мы должны думать об идеалах, представленных нам Константином Симоновым? Он видит наибольшую ценность в мужском единении, при котором они делят между собой хлеб, кров, и даже, в некотором смысле - женщину, которая принадлежит им всем. Как мы можем принять это?

Представленное поэтом единство, существующее между людьми, разделёнными на одну ночь дом в Вязьме, - единство, которого мы в мирное время, вероятно, ожидаем добиться в

семье, а в счастливой семье деление поровну хлеба и крова, всех невзгод и радостей жизни воспринимается как должное. После войны и разрыва отношений с Валентиной, Симонов женился вновь. Его новый брак кажется счастливым, по крайней мере отчасти. Но наивысшей ценностью для него всегда оставалась дружба, и её высшее выражение - в том братском бескорыстии мужчин, которое, вероятно, возможно только на войне. Вновь обратимся к его выступлению в Нью-Йорке в 1960 году:

«Не знаю, как кто на это смотрят, а по мне дружба человеческая - самое дорогое чувство на земле. Это чувство с большой силой проявляется когда людям тяжело; а на войне - людям очень тяжело».

Идеалы Симонова - не личностны: это коллективистские идеалы, на которых был построен Советский Союз; идеалы, выведенные не только из марксистской теории, но и из духовных традиций русского общества и русской армии: общество и армия, для которых сильное чувство разделённой судьбы оказалось единственной защитой от сурового климата и уязвимости открытых российских равнин. На протяжении всего советского времени страна находилась в состоянии войны, действительной или потенциальной. Как только Горбачёв начал рушить преграды, окружающие Советский Союз, ощущение жизни в осаде не могло более поддерживаться; Союз распался.

Однако вместе с тем нечто очень важное - то, что Симонов выражал как никто другой - было утеряно.

С Интернета - <http://www.simonov.co.uk/zhiznpoeta.htm>

Жди меня...



В.С.

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,

Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: - Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, -
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

1941

Константин Симонов.



Словом можно
обидеть,
словарем -
ушибить.



По пустыне
ползут
две черепахи.
Он ей:
- Ты испортила
триста лучших
лет моей жизни.

Концерт

Начинающий поэт Николай Котомко сильно волновался: первый раз в жизни он был приглашен участвовать в благотворительном концерте. Дело, положим не обошлось без проекции: концерт устраивало обществоохранения аптекарских учеников от никотина. А Котомко жил в комнате у вдовы Марухиной, хорошо знавшей двух помощников провизора. Словом, были нажаты какие то пружины, дернуты соответствующие нити, и вот юный, только что приехавший из провинции Котомко получил возможность показать столичной публике свое задумчивое лицо.

Пришедший приглашать его мрачный бородач нагнал страху немало.

- Концерт у нас будет, понимаете ли, блестящий. Выдающиеся таланты частных театров и пять тризвездочек. Понимаете, что это значит? Надеюсь, и вы нам окажете честь, тем более что и цель такая симпатичная!

Котомко обещал оказать честь и вплоть до концерта - ровно три недели - не знал покоя. Целые дни стоял он перед зеркалом, декламируя свои стихотворения. Охрип, похудел и почернел. По ночам спал плохо. Снилось, что стоит на эстраде, а стихи забыл, и будто публика кричит: «Бейте его, длинноносого!» Просыпался в холодном поту, зажигал лампочку и снова зубрил.

Бородач заехал еще раз и сказал, что полиция разрешила Котомке прочесть два стихотворения:

Когда, весь погружаясь в мечтанья,
Юный корпус склоню я к тебе...

И второе:

Скажи, зачем с подобною тоскою,
С болезнью я гляжу порою на тебя...

Бородач обещал прислать карету, благодарил и просил не обмануть.

- А пуб блики м много будет? - заикаясь, прошептал Котомко.

- Почти все билеты распроданы.

В день концерта бледный и ослабевший поэт, чтобы какнибудь не опоздать, с утра завился у парикмахера и съел два десятка сырых яиц, чтобы лучше звучал голос.

Вдова Марухина, особа бывалая, понимавшая кое-что в концертах, часто заглядывала к нему в комнату и давала советы.

- Часы не надели?

- У меня и нет часов! - стучал зубами Котомко.

- И не надо! Часов никогда артисты к концерту не надевают. Публика начнет вас качать, часы выскочат и разобьются. Руки напудрили? Непременно надо. У меня жила одна артистка, так она даже плечи пудрила. Вам, пожалуй, плечи то и не надо. Не видно под сюртуком. А впрочем, если хотите, я вам дам пудры. С удовольствием. И вот еще совет: непременно улыбайтесь! Иначе публика очень скверно вас примет! Уж вот увидите!

Котомко слушал и холодел.

В пять часов, уже совершенно одетый, он сидел, растопыря напудренные руки, и шептал дрожащими губами:

Скажи, зачем с подобною тоскою...

В голове у него было пусто, в ушах звенело, в сердце тошнило.

«Зачем я все это затеял! - тосковал он. - Жил покойно... „с болезнью я гляжу“... жил покойно... нет, непременно подавай сюда славу... „с болезнью я порой“... Вот тебе и слава! „Юный корпус склоню я“... Опять не оттуда...»

Ждать пришлось очень долго. Хозяйка высказала даже мнение, что о нем позабыли и совсем не приедут. Котомко обрадовался и даже стал немножко поправляться, даже почувствовал аппетит, как вдруг, уже в четверть одиннадцатого, раздался громкий звонок и в комнату влетел маленький чернявый господинчик, в пальто и шапке.

- Где мадамзель Котомко? Где? Боже ж мой! - в каком-то отчаянии завопил он.

- Я... я... - лепетал поэт.

- Вы? Виноват. Я думал, что вы дама, ваше имя может сбить с толку. Ну, пусть. Я рад!

Он схватил поэта за руку и все с тем же отчаянием закричал:

- Ох, поймите, мы все за вас хватаемся! Как хватается человек за последнюю соломинку, когда у него нет больше соломы.

Он развел руками и огляделся кругом.

- Ну, понимаете, совершенно нет! Послали три кареты за артистами, - ни одна не вернулась. Я говорю, нужно было с них задаток взять, тогда бы вернулись, а Маркин еще спорит. Вы понимаете? Публика - сплошная невежда; воображает, что если концерт, так уж сейчас ей запоют и заиграют, и не понимает, что если пришел в концерт, так нужно подождать. Ради Бога, едемте скорее! Там какой то паршивый скрипач - и зачем такого приглашать; я говорю, - пять минут помахал смычком и домой уехал. Мы просим «бис», а он заявляет, что забыл побриться. Слышали вы подобное? Ну, где же ваши ноты, пора ехать.

- У меня нет нот! - растерялся Котомко. - Я не играю.

- Ну, там найдется кому сыграть, давайте только ноты!

Тут выскочила хозяйка и помогла делу. Ноты у нее нашлись: «Маленький Рубинштейн» - для игры в четыре руки.

Вышли на подъезд. Чернявый впереди, спотыкаясь и суется, за ним Котомко, как баран, покорный и завитой.

- Извините! Кареты у меня нет! Кареты так и не вернулись! Но если хотите, вы можете ехать на отдельном извозчике. Мы, конечно, возместим расходы.

Но Котомко боялся остаться один и сел с чернявым. Тот занимал его разговором.

- Боже, сколько хлопот! Еще за Буниным ехать. Вы не знаете, он в частных домах не поет?

- Н не знаю... не замечал.

- Я недавно из провинции и, простите, в опере еще ни разу не был. Леонида Андреева на балалайке слышал. Очень недурно: русская ширь степей, степенная ширь. Потом обещал приехать Владимир Тихонов; этот, кажется, на рояле. Еще хотели мы Немировича Данченка. Я к нему ездил, да он отказался петь. А вы часто в концертах поете?

- Я? - удивился Котомко... - Я никогда не пел.

- Ну, на этот то раз уж не отвертитесь! Сегодня вам придется петь. Иначе вы нас так обидите, что Боже упаси!

Котомко чуть не плакал.

- Да я ведь стихи... В программе поставлено «Скажи, зачем» и «Когда весь погружаясь»... Я декламирую!

- Декла... а вы лучше спойте. Те же самые слова, только спойте. Публика это гораздо больше ценит. Ей Богу. Зачем говорить, когда можно мелодично спеть?

Наконец приехали. Чернявый кубарем вывалился из саней. Котомко качался на ногах и стукнулся лбом о столбик подъезда.

- Шишка будет... Пусть! - подумал он уныло и даже не потер ушибленного места.

В артистической стоял дым коромыслом. Человек десять испуганных молодых людей и столько же обезумевших дам кричали друг на друга и носились как угорелые. Увидя Котомку, все кинулись к нему.

- Ах... Ну, вот уж один приехал. Раздевайтесь скорее! Публика с ума сходит. Был только один скрипач, а потом пришлось антракт сделать.

- Читайте подольше! Ради Бога, читайте подольше, а то вы нас погубите!

- Сколько вы стихов прочтете?

- Два.

- На три четверти часа хватит?

- Н нет... Минут шесть.

- Он нас погубит! Тогда читайте еще чтонибудь, другие стихи.

- Нельзя другие, - перекричал всех главный распорядитель. - Разрешено только два. Мы не желаем платить штраф!

Выскочил чернявый.

- Ну, так пусть читает только два, но очень медленно. Мадмазель Котомка... Простите, я все так... Читайте очень медленно, тяните слова, чтобы на полчаса хватило! Поймите, что мы как за соломинку...

За дверью раздался глухой рев и топот.

- Ой, пора! Тащите же его на эстраду!

И вот Котомко перед публикой.

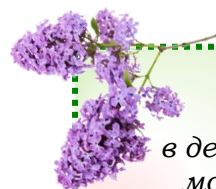
- Господи, помоги! Обещаю, что никогда...

- Начинайте же! - засвистел за его спиной голос чернявого.

Котомко открыл рот и жалобно заблеял:

- Когда весь погружаясь...

- Медленней! Медленней! Не губите! - свистел шепот.



Каждый
алкоголик
в детстве был
молокососом.

- Громче! - кричали в публике.

- Ю ный, ко о орп пу ус...

- Громче! Громче! Bravo!

Публика, видимо, веселилась. Задние ряды вскочили с мест, чтобы лучше видеть. Кто-то хохотал, истерически взвизгивая. Все как-то колыхались, шептались, отворачивались от сцены. Какая то барышня в первом ряду запищала и выбежала вон.

- Скло о ню у я ку те е... - блял Котомко.

Он сам был в ужасе. Глаза у него закатились, как у покойника, голова свесилась набок, и одна нога, неловко поставленная, дрожала отчетливо крупной дрожью. Он проныл оба стихотворения сразу и удалился под дикий рев и аплодисменты публики.

- Что вы наделали? - накинулся на него чернявый. - И четверти часа не прошло! Нужно было медленнее, а вы упрямы, как коровий бык! Идите теперь на «бис».

И Котомку вытолкнули второй раз на сцену. Теперь уж он знал, что делать. Встал сразу в ту же позу и начал:

- Ко о огда а а ве е есь...

Он почти не слышал своего голоса - такой вой стоял в зале. Люди качались от смеха, как больные, и стонали. Многие, убежав с мест, толпились в дверях и старались не смотреть на Котомку, чтобы хоть немножко успокоиться.

Чернявый встретил поэта с несколько сконфуженным лицом.

- Ну, теперь ничего себе. Главное, что публике понравилось.

Но в артистической все десять девиц и юношей предавались шумному отчаянию. Никто больше не приехал. Главные распорядители пошептались о чем-то и направились к Котомке, который стоял у стены, утирал мокрый лоб и дышал, как опоенная лошадь.

- Поверьте, господин поэт, нам очень стыдно, но мы принуждены просить вас прочесть еще что нибудь. Иначе мы погибли! Только, пожалуйста, то же самое, а то нам придется платить из-за вас штраф.

Совершенно ничего не понимая, вылез Котомко третий раз на эстраду.

Кто-то в публике громко обрадовался:

- Га! Да он опять здесь! Ну, это я вам скажу...

- Странный народ! - подумал Котомко. - Совсем дикий. Если им что нравится - они хохочут. Покажи им «Сикстинскую мадонну», так они, наверное, лопнут от смеха!

Он кашлянул и начал:

- Ко гда а а...

Вдруг из последних рядов поднялся высокий детина в телеграфской куртке и, воздев руки кверху, завопил зычным голосом:

- Если вы опять про свой корпус, то лучше честью предупредите, потому что это может кончиться для вас же плохо!

Но Котомко сам так выл, что даже не заметил телеграфного пафоса.

Котомке дали полтинник на извозчика. Он ехал и горько усмехался своим мыслям.

«Вот... я теперь известность, любимец публики. А разве я счастлив? Разве окрылен? «Что слава? - яркая заплатка на бедном рубище певца». Я думал, что слава чувствуется как-то иначе. Или у меня просто нет никакого честолюбия?»

Надежда Тэффи.



Телевизор - это угар,
 Это тот же угарный газ.
 Телевизор - это пожар,
 Задымление мозга и глаз.
 Телевизор - это прорыв
 В запредельные разума сферы.
 Телевизор - это нарыв,
 Отравляющий дум атмосферу.
 Телевизор - это игра,
 Наркотический танец харизмы.
 Телевизор - это пора
 Безвозвратно потерянной жизни.

28.11.2016

В.К. НЕВЯРОВИЧ



ВОВКИНЫ КАЧЕЛИ

Качается и качается, качается и качается, подолгу и безостановочно, - как ни посмотришь в окно, только качели монотонно скрипят. Лет пятнадцать-шестнадцать ему на вид уже, этому перерослику, а зовут его Вова. Качели те на детской площадке - их закупили у нас немерено в Германии на радость, вроде, детям с их родителями... вместо когда-то изготавливавшихся местными поумиравшими ныне производителями. А закупка и установка производилась накануне очередных выборов мэра... Но факт остаётся фактом - площадки и качели предназначаются для маленьких детей.



Как-то днём три девочки-крохи, от горшка - два вершка, пришли на детскую площадку с куклой, украшенной разноцветными лентами, и такой же маленькой игрушечной коляской под неё. Они долго стояли и задумчиво не отрываясь смотрели на раскачивавшегося верзилу, одна даже сосредоточенно ковыряла пальцем в носу. Наверное, он им казался великаном, вторгшимся в их царство. Вторые качели рядом неподвижно висели свободными, но подойти ближе никто из них не отважился. Интересно, о чём думал этот оболтус, в свою очередь, поглядывая на крох, когда взлетал до предела, едва не переворачиваясь? И думал ли вообще своей привычной к укачиванию головой? Катался-то он до полной одури, и мысли вряд ли могли рождаться и, тем более, удерживаться в его замотанной качелями голове.

Так прошёл год, второй. Он продолжал качаться ежедневно, странноватый, ставший привычным персонаж на детской площадке. Качели выдерживали, молодцы немцы, ничего не скажешь - крепко сделали! Да и он не собирался отступить.

По душе, значит, в кайф ему, чтобы голова кружилась постоянно, таким путём изменять своё обычное состояние, получать растянутое удовольствие, словом. Генетическая предрасположенность, а то и намёк на возможную склонность к алкоголизму или наркомании в будущем? Это могло выясниться только в дальнейшем.

На качелях он закурил, - не сразу получилось, но наловчился, и ему очень понравилось. Раскачаться, достать сигарету и с одного раза без промаха прикурить от зажигалки на высоте взлёта...

Видимо, всё же от бесконечного качания что-то разладилось у него в голове, а, может, изначально имелся там беспорядок, за исключением крепкого мозжечка. Однажды в начале тёплой летней ночи попытался он совершить свой первый половой акт на качелях с согласившейся за два чупа-чупса и бутылку колы девочкой младше его на два года. Попытка закончилась полной неудачей, хорошо ещё, без травм обошлось! А так было бы, чем потом хвалиться перед сверстниками!

Как-то ненастным днём две помятые субтильные фигуры, неопределённого возраста, явно алкоголем заморенные, с непонятной целью подошли к Вове на качелях. Возможно, им захотелось порядка, как в давно минувшие советские времена, когда за сдачу пустой бутылки из-под пива давали целых двенадцать копеек, а это было уже полкружки того же разливного.

- Эта.., - сказали они. - Качели-то для детишек, ваще-та!

Если они и хотели испугать Вову, который выглядел едва ли не в два раза крупнее вместе взятых доходяг, не на того напали, не получилось у них ничего.

- Ну?! - спросил он, продолжая качаться и даже не притормозил, не видя для себя реальной угрозы в лице двух задохликов.

Жалкие жертвы зелёного змия поняли, что перед ними вовсе не пионер времён их далёкой юности, которых учили уважать старших. От такого запросто можно было и по бестолковке получить, а потому они посчитали нужным спешно слинять и больше не появлялись.

При постановке на учёт в военкомате обычно не особо бдительные медики из комиссии направили его всё же на обследование в психдиспансер. Что-то их насторожило в любителе детских качелей, помимо странной зубастой улыбки.

Не сказать, что тамошний психиатр особо засомневался насчёт пригодности испытуемого, когда задавал положенные по процедуре вопросы. Например: «чем отличается птица от самолёта?». Получаемые ответы он скрупулёзно записывал в заведённую для такого случая карточку. Худо - бедно, добрались со временем до последнего:

- В какой стороне света восходит солнце?

Именно этот вопрос вызвал у Вовы наибольшее затруднение. Наш допризывник надолго задумался, морщины не по возрасту избороздили его гладкое до того, если не считать несколь-

ких угрей чело, отражая непривычный процесс умственной деятельности. Доктор не торопился, в отпущенный норматив времени они вполне укладывались. Наконец, напряжённо сидящий перед ним улыбнулся своей бездумной зубастой улыбкой, кожа на лице расправилась, но брови застыли вопросительными дугами. Он с сомнением выдал:

- В Японии!

- О! Какой хороший ответ! - обрадовался испытующий, торопливо занося его под прежними перлами. - Годен служить в ВДВ! Поздравляю, молодой человек!

Парень и вовсе обрадовался, брови вернулись на место, наверное, решил в этот миг: уж там он оторвётся по полной, накачается досыта, ведь прыгать с парашютом наверняка круче, чем кататься на детском аттракционе! Но не таким уж он простаком оказался:

- А на качелях проверять не будете?

- Нет, дорогой, нет, это тебя потом проверят!

Мой знакомый врач избавился от прошедшего проверку на умственную пригодность к службе и поспешно запер за ним дверь, чтобы не ворвался следующий. После чего, уже не спеша, метко разлил водку в скрытые в шкафу рюмки. И то, как не расслабиться после такого напряжения? К тому же неизвестно, кто там ещё ждёт за дверью!

Я успел только подумать, а чем, действительно, отличается самолёт от птицы? Наверное, подразумевается, что одно из них живое, другое нет. Но, ведь птицы летают тоже сами по себе и, значит, вполне имеют право называться «самолётами»!

А если, допустим, тебя укачивает на качелях, из-за нетренированного вестибулярного аппарата, или просто опасаясь выглядеть, как этот Вова на детской площадке, типа «корова на льду» - вполне найдутся другие, более подходящие способы «покачаться». Наверное, об этом наш «качелист» пока ещё не знал. Тогда оно и к лучшему!

Что ж, качайся, Вова, пока есть охота (а, ведь, похоже, никогда ему не надоест!), только маленьких детишек не обижай! Качели-то на площадке всё-таки для них предназначены...

СЕРГЕЙ КРИВОРОТОВ. Россия.

Смелость дерзает, трусость - дерзит.

ДЕД



"Что такое война? - внук у деда спросил, - Ты же был на войне, в детстве мне говорил. А потом мы беседы с тобой не вели, И к согласью, мой дед, мы тогда не пришли. Ты прости меня, дед, в этом я виноват, Я в понятии - "война" был тогда слабоват. "Для чего вспоминать? Это было давно!.." - Этим я разорвал пониманья звено. Ты тогда отвечал: "Значит, я для тебя Тоже прошлое? Внук, больно мне за тебя. Значит, зря воевал и врага не пускал Я на землю свою?.. О победе мечтал?.." "Память прошлого, внук, - ты сказал мне тогда, - Чтоб ты землю берег, не пускал никогда Зло, что может пройти и все снова начать. Не могу я забыть и об этом молчать. Если помним, то мы вновь не пустим врага!" Не задумался я над словами тогда. Ты прости меня дед, расскажи мне теперь, Пока жив, о войне. Буду слушать, поверь! Расскажи о войне. Что ты помнишь о ней? Обещаю любить край любимый сильнее". Уже солнце зашло, в небе звезды горят, Дед и внук о войне до сих пор говорят.



Там есть глубокие умы,
Но даже умным не под силу
Среди сгущающейся тьмы
Понять спокойствие России.

Наш край не минула беда –
Чужой ли меч, своя ли плаха –
Но мы не знали никогда,
Ни перед кем не знали страха.

Мы с Богом виделись «на ты»,
Мы правду вечную искали,
Среди последней нищеты
На благо волю не меняли.

Перед султанами в степи,
Перед коричневым удушьем
Мы не дрожали. Усыпить
Нас ложью, лестью, благодушьем,

Наверно, можно. Подыскать
Потоньше хитрости, поглубже -
Вернее было б. Но пугать -
Не по зубам и просто глупо.

Виктор Еращенко.



Булат

Юмористический рассказ.

Нашего церковного коня звали Булатом. Такую кличку ему дали на Беловодском конезаводе, откуда мы привезли нового труженика в надежде на его активное участие в нелёгком крестьянском труде. И не ошиблись. Несмотря на то, что из маленького длинноногого смешного жеребёнка он превратился в огромного тяжеловоза весом под целую тонну, характером все-таки Булат обладал покладистым и добрым. С его помощью мы пахали огороды, культивировали, косили траву на зиму для него и буренок. И даже вывозили из полуразрушенного храма мусор. Однажды епископ, внезапно захвативший к нам во время уборки мусора, не стал бранить за присутствие коня в храме (тоже тварь Божия), а рассказал, как и сам в детстве помогал управляться родителям по хозяйству. И даже собирал в степи «кизяки» для зимнего отоплення крестьянской хаты.



Ничто так не сближает, как совместный труд. И вскоре мы стали понимать друг друга, как говориться, без слов. Пасся он самостоятельно на холме без привязи, а к вечеру спускался в деревню, о чем возвещал громким ржанием у калитки во двор. Но иногда, крайне редко, мог не успеть спуститься в деревню до темноты. Тогда мне приходилось идти за нашим помощником. Ведь, как известно, лошади - животные пугливые. Самостоятельно идти по деревне ночью Булат побаивался.

И вот как-то перед Пасхой, которая в тот год пришлась поздно, я по обычаю отправил Булата пастись на холм. Мы уже успели что-то по огороду заделать. Но вовремя он не вернулся... а как назло небо затянулось облаками и не видать ни зги (зга - это колечко на дуге у лошади для продевания вожжей). Скоро уж Пасхальную заутреню начинать, а я хожу коня ищу. И чтобы хоть как-то подавить раздражение на него, думаю об обычае допетровской эпохи. Тогда в Москве во время празднования Входа Господня в Иерусалим, Патриарх объезжал Кремль на осле. Но поскольку животное это было редкостью на русских просторах, то его заменили перодедетым конем. Жаль, думаю, что этот обычай не распространился повсеместно. Могу только представить - что бы думал Булат, наряди я его в осла и оказывай ему почести. Он бы тогда подумал: «Ты смотри, как меня встречают! И одежду под копыта стелют, чтобы мягче было ступать, и дети с травой в руках радостно что-то кричат, и народ ликует и кланяется мне». В какой-то степени и я, священник, являюсь образом этого осла. Ведь многие оказывают мне почести, при благословении руку целуют и кланяются. Вот только бы не стать, действительно, ослом и не приписать все это себе. А помнить, что честь оказывается той священнической благодати, которая после рукоположения пребывает на каждом священнике. И священник является носителем этой благодати.

Размышляя об этом, гнев мой сошел на нет и я решил, не откладывая Пасху из-за Булата, оставить свои поиски. Я пошел готовиться к службе. И вот уже медленно двигаясь вокруг старого храма, народ запел: «Воскресение твое Спааа-се, ангелы поюююют на небесе! И нас на земли сподоооо-ооби...» И только крестный ход оказался за алтарём, как в наше пение ворвалось радостное ржание Булата: «Игого!» Вот тебе и раз: всю округу обходил, а он оказывается вот где! Тварь Божия! Ишь ты, тоже хотел славить Господа! Жаль всё-таки, что отменили древний обычай. Булат бы справился.

Думаете, на этом всё закончилось? Нет, по окончании Пасхальной службы и обедного отдыха я запряг Булата и поехал на дойку на край деревни. Жаль, что не было ещё тогда телефона у меня. Какой бы был кадр! Подходит к нашему коню буренка и, точь-в-точь, как человек, трижды целуется с Булатом. Мол, Христос Воскресе!

Сайт «Свете Тихий»



Игумен Герман(Скрипник).

Писатели делятся на известных, безвестных и пропавших без вести.

От труда на бирже до биржи труда - один шаг.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !

Мир не припомнит Полночи Светлее,
Чем та, что, потеснила царство тьмы.
В двух тысячах постящихся апрелей,
Покаявшись, идём к Спасенью мы.

И приобщаясь к Таинствам Христовым,
Причастие приняв из Светлых рук,
И Совесть согласив с Заветом Новым,
Проходим сердцем очищенья круг.

Тот поцелуй предательский Иуды,
Повлекший за собою суд и казнь...
Стал назиданьем слабодушным людям:
В смертельный грех, во тьму ведет соблазн!

Христос терпел мучения распятия,
Молясь Отцу Небесному за нас,
Во искупление вечного проклятья,
Ценою смерти род людской Он спас.

Свершилось предначертанное свыше,
Сошедши в Ад, его разрушил власть,
Спасая души праведников, вышел,
Дорогу в Рай открыв для грешных нас.

И Крестный Ход полночный в Воскресенье
Дарует Весть! И радость в ней чиста:
Во славу Пасхи праздничное пенье!
Во имя Воскрешенного Христа!

Вновь колокольный звон ликует в веси,
И осеняет нас Священный Крест!
Пусть в вечности звучит: -
«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ»!!!

И вторит сонм: -
«ВОИСТИНУ ВОСКРЕС»!!!

Сайт «Свете Тихий» Светлана Тишкина.

Взрывают лёд на северной реке

*Деревянным храмам Присвирья, которые мы
не смогли сберечь на родной земле, посвящается...*

Взрывают лёд на северной реке.
Эх, милые, ну где ж вы раньше были,
Когда отсюда память увозили
Под песни не на русском языке?!

Что медлили?! Открытая вода
Не допустила б этого бесчинства
И по святым законам материнства
Уберегла б от чёрного стыда!

Но поздно... В растревоженной тайге
Ревёт вода от огненной разлуки.
А взрывом перемальвает звуки,
Как мутный лёд на северной реке.

Исповедь пера...



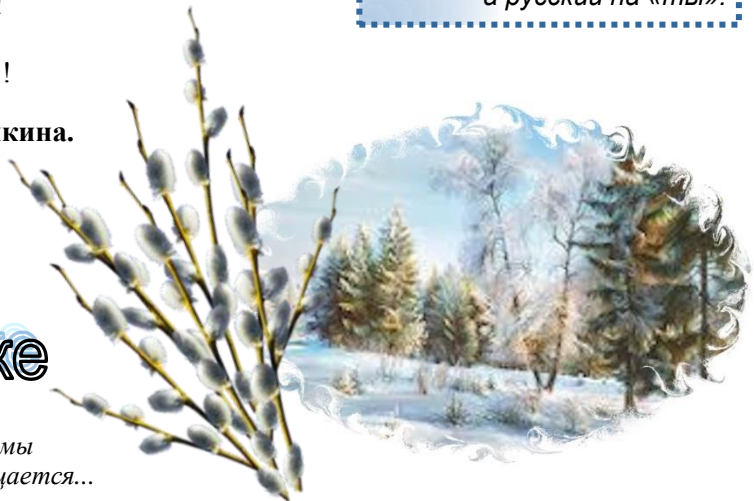
Николаю Аксёнову

О, Боже, исповедь пера,
Да это ж исповедь поэта.
Всю ночь работа до утра -
Душа в полете до рассвета.
И убегающая вдаль -
Строка, как дивная дорога,
И вдохновение от Бога,
И в сердце тихая печаль.
И грусть порой, такая грусть,
Что и не выскажешь словами,
А ты, склонившись над стихами,
Свой измеряешь в жизни путь.
Глядишь на все издалека,
Своих дорог не проклиная,
И все юность вспоминая,
К божнице тянется рука...
А за окном все тот же сад,
Луна, уснувшая над полем,
И запоздалый снегопад
Кружится вырвавшись на волю.

Николай Климин. Россия.
Сайт «Свете Тихий»



*После трех рюмок коньяку
француз переходит
на минеральную воду,
а русский на «ты».*



Алексей Гушан. Россия.



*Ой, ты, Русь, поля - морские дали,
Острова неведомой земли,
Пусть хранят тебя от всех печалей
Белых колоколен корабли...*

*Неба ширь качается волнами,
Улетают на рассвете журавли,
Все проходит, но стоят на рейде
Белых колоколен корабли...*

*И для каждого когда-то день настанет,
Призовет подняться и уйти,
И тогда прислусят свои флаги
Белых колоколен корабли...*

*8 сентября 2007
Терентий Травник*

История одного стихотворения

Елена Логунова

БЕЛЫХ КОЛОКОЛЕН КОРАБЛИ

Бывает, что краткое сочетание слов, вызванное к жизни поэтом, создает уникально объемную картину. И эту картину хочется разглядывать, осмысливая, долго-долго... До того момента, когда потечет поток собственных мыслей.

Прочитанное довольно давно стихотворение Терентия Травника «Ой ты, Русь...» легло на одну из полок обширного подвала моей памяти, но все его полки оказались тесными для белых колоколен кораблей... Этот образ зазвучал во мне.

И поэт уже не властен над построенными им кораблями - они теперь живут собственной жизнью. Уверена, что не только в моем сознании.

Когда мы делаем первый шаг от осознания «Бог есть!» к ощущению Бога в себе, - наша жизнь вдруг преображается дивным образом. Мы начинаем ходить под Богом, благоговейно постигая истину: без Него не можем ничего... И душа познает необыкновенную радость: замирать от восторга, улетаая взглядом к Небу. Улетая вслед за белыми колокольнями кораблей... А корабль - это всегда путешествие. Самое прекрасное из всех видов путешествий.

Взгляните на храм глазами сердца. Неважно - простой он, деревенский, или великолепный столичный. И вы увидите - храм взлетает... Взлетает, обещая нам путешествие в страну под названием Вечность.

Небо над храмом - голубое, даже если оно закрыто тучами. А белые колокольни могут быть и синими, и зелеными... Неважно... Потому что слово **белый** обрело в стихотворной строчке значение небесной чистоты.

Мы идем по жизни. Трудно порою идем. То по грязи, то со слезами. А над нами неспешно плывут к Вечной Радости белых колоколен корабли. Стоит только взмахнуть рукой - и они остановятся на минутку около нашей пристани... Спасибо поэту, подарившему нам паруса!

* * *

Кстати, в одном из своих писем исследователь творчества Терентия Травника, Андрей Горяинов, изложил историю создания образа белых колоколен:

«Мне доподлинно известно, что поэта вдохновил на создание стихотворения именно вид на левобережье Оки с колокольни Троицкого храма села Бёхово, Тульской области, который был построен по эскизам Василия Дмитриевича Поленова.

Насколько я знаю, Терентий - частый гость тех мест. Он дружен с отцом Алексием (Дарашевичем), настоятелем местного храма. По свидетельству его друга, Сергея Гончара, именно там, на колокольне этого храма, поэт и вдохновился. И там же впервые прочитал стихотворение о.Алексию и Сергею. Они с другом были тогда вместе в поездке по старым русским городам.

Позже композитор Владимир Булюкин напишет к этому стихотворению музыку, и оно станет песней, включенной в репертуар духовного хора композитора, а также нередко исполняемой молодыми бардами и участниками фестивалей и слётов авторской песни».



ТЕРЕНТИЙ ТРАВНИКЪ (творческий псевдоним Игоря Аркадьевича Алексеева). Травникъ - современный русский поэт, философ, публицист, художник и композитор. Родился 23/6/1964 г. в Москве. Имеет художественное и музыкальное образование. Много путешествует по России. Лауреат литературных конкурсов, главный редактор православной газеты «Сад духовный», автор известной, неоднократно издававшейся философско-публицистической книги «Лучина» и книги афоризмов «Пути-дороги», в которую вошли более 1000 афоризмов автора, написанных им за четверть века с 1987 по 2012 год.

За последние годы, помимо философской прозы, издано более 40 книг и поэтических сборников. Наиболее известные из них: «Благодарение», «О чем поведала печаль», «Межа», «Тихий Свет», «Разнотравье», «Ромашкин снег», «Любовь», «Из дневника художника», «Сушкин дом на Мухиной горе», «Светец», «Странница страница», «Золото Фиолетовых чернил», собрание сочинений в 4-х томах «Белокнижье», «Времена года», «Осенняя тетрадь», «Цветная жизнь», «Перелистывая жизнь», «Альфа Вита», «Цветная музыка души», «И музыка, и цвет...».



Белых колоколен корабли...

Ой, ты, Русь поля – морские дали,
Острова неведомой земли,
Пусть хранят тебя от всех печалей
Белых колоколен корабли...

Неба ширь качается волнами,
Улетают на рассвете журавли,
Всё проходит, но стоят на рейде
Белых колоколен корабли...

И для каждого когда-то день настанет,
Призовут подняться и уйти,
И тогда приспустят свои флаги
Белых колоколен корабли...

8-9-2007



Пока живешь, ты беспокоен.
Живым от века суждено
Сражаться, как безумный воин
За мир и... с миром заодно.
Но если б путь твой был отмечен
Сияньем изгнанной души,
То знал бы ты, чем дышит вечность,
Врезаясь плугом в плоть межи.

Людам милая

Благословенна ты, душа,
Коль есть в тебе огонь волнений!
И ты, как юность, влюблена,
И жив в тебе тот светлый гений,

Способный искренне любить
Сердце горения иные.
И в этом чуде находить,
Природы радости живые!

29 сентября 2013



Милая деревня

Берешь свой посох неизменный
И к вечеру идешь гулять
Деревней. Милая деревня,
Как хочется тебя обнять!

Все мне - родное, словно кто-то
С заботой создавал в тебе
И дом, и старые ворота,
И отражения в воде

Мосточков кривеньких,
И в ряби - ракич дрожанье, камышей.
И брех собак, дворовых ябед,
Прославленных округой всей.

Чу, слышу! Слышу скрип телеги.
С причмоком погоняет дед
Кобылку хромую, и дети
Люлюкают ему вослед.

Замрешь, бывало, улыбнешься,
И молча, хоть куда пойдешь.
И только в поле вдруг очнешься:
Покой, простор, луна и... рожь.



Есть в самом сердце - сердца мир,
Куда с молитвою приходят.
Я к строевой давно не годен,
Но ты скомандуй, командир,

И тысячи вселенских лир
Сыграют солнцу на восходе:
Есть в самом сердце - сердца мир,
Откуда счастье приходит!

1 октября 2013



Ах, детства давность! Где теперь
Мир из мальчишеской тетради.
А было так, и ты мне верь,
А было все - как на параде!

Сверкала ярче солнца медь,
Оркестры дули, ноты мая,
И крестокрылая сирень,
К тому же сочная такая –

Согнулась. Мы ж ее ломали -
С букетами неслись домой.
Не просто жили мы - летали
Тогда, как птицы - над Москвой.

Года не лезли в наше братство,
Шли строевым вдали от нас.
Знать было им не до арбатства,
Не до плющихинских проказ.

За нас горой стояло детство,
Сорвав хозяйских сотни пломб,
А это - первый ряд и место!
А это - хлеще всяких бомб!

А это - всё! Но даже с этим
Я не дерзну его сравнить.
Быть может, ветер знает?... Ветер,
Откуда детства вьется нить?

1 октября 2013

VIRGO

Ты не волшебница, ты - чудо!
Сама не ведая того,
Ты ожидаемое всюду
И всеми - жизни торжество!

Не ласковой же будь, но лаской,
Не царственной, но чистой.
Не утончённою, но ясной,
Не простодушной, но простой.

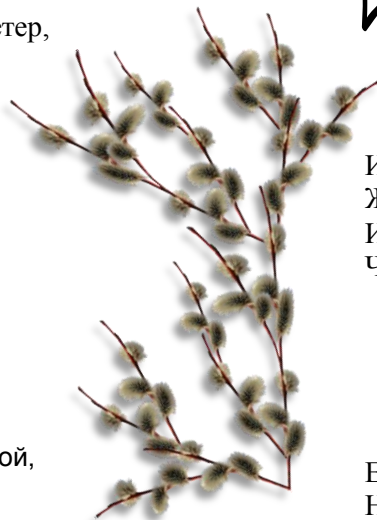
Стань женщиной, будь снова тою,
Что вышла из под рук Небес.
Скинь маску мира, стань собою,
Верни чужой, возьми – свой крест.

Земных желаний исполненье
Не принесёт тебе наград.
Ты Небом призвана к служенью
Тому, кто Небом сам богат.

4 февраля 2014



Легче быть рабом идеи, чем господином слова.



ВСТРЕЧА

Случилось встретить мне поэта.
Себя узнал тогда я в нём.
То было в детстве, было летом,
То было летним жарким днём.

Я на асфальте, возле дома
Осколком кирпича писал.
Он подошёл: Привет, знакомый,
С тобой знакомы мы, - сказал.

Тут время сжалось на мгновенье,
Десятки лет промчались, и
Он написал стихотворенье,
Лист протянул мне: «Вот, возьми,

Оно - твоё. Когда ты станешь,
Таким же, как и я большим,
Ты вспомнишь и его достанешь,
Ну, а пока, мой друг, пиши!

Пиши мелкими, как умеешь,
Кирпичным сколочком пиши.
Строкою ты преодолеешь
Себя и узришь свет души».

4 февраля 2014

Из ежедневных мелочей

Из ежедневных мелочей,
Желаний суетливых, пыли,
Из пересудов и вещей,
Что так старательно копили,

Из штабелей пустяшных фраз,
Завалов бытовых хотений,
Рождается на свет для нас
Попутчик пагубный - злой гений!

Его задача - просто красть
Нам отведенные минуты.
Его задача, дав нам власть,
Нас этой властью и запутать.

Его задача - подменить
В колоде жизни смысла карту.
Отметки смазать, ризки сбить
И сделать финишами старты.

Не просто обойти его
Властителя пиров и лени.
Приходит к каждому в свой срок
Попутчик пагубный - злой гений!

23 июля 2013



На хуторе

После того как вестник с перекошенным от крика ртом намётом проскакал мимо их городьбы, батя не долго возился с конём. Запряг. Вывел на двор. Вскочил в седло и... нет его. Скрылся. Только вслед топоту копыт Чалого народилось на дороге облачко пыли. Вот это облачко приподнялось над землёй и поплыло следом, поднимаясь всё выше и выше. Много таких облачков плыло над землёй, сбиваясь в большие облака, а некоторые продолжали нестись по небу сами по себе...

Батя умчался, а Санёк как скрипел качелями, так и продолжал скрипеть. Качели, что ни говори, это наслаждение! Он старательно раскачивал качели и когда в махе они поднимались в наивысшую точку, то можно было ещё разглядеть отца, превратившегося вскоре в еле видимую точку.

Вернулась с базара мать и долго ещё, выпрягая из подводы лошадей, сетовала:

- Надо же! Он даже не попрощался со мной, не повидался. Эх, Пахом, Пахом...

Вернулся домой Пахом через неделю. Лежал он поперёк Чалого и сопровождали его двое станишников. Когда снимали Пахома с коня он стонал и на просьбы держаться, зло скрипел зубами.

Станишники вскоре уехали, выпив по пол - ведра воды, отказавшись от молодого пива.

- Пусть устоитя пока. А нам жажду утолить надобно.

Мать хлопотала в доме возле отца, две сестры Саньки помогали ей.

Дождь... Откуда взялся вдруг хлещущий дождь при безоблачной погоде? Дождь обильно поливал землю. Куры и гуси зябко жались под навесом, куда прыснули сразу же, как только дождь накрыл хутор.

Санёк понял, что он теперь в доме за мужчину и потому многое надо взять на себя. Воду он натаскал в ведра ещё утром. Перво-наперво, надо убрать Чалого. Что ему под дождём мокнуть? Саня открыл дверь конюшни. Чалый одобрительно фыркнул мальчишке прямо в ухо. Морда коня была вся мокрой, и потому тучи брызг попали мальчику на шею и щёку. А потом Чалый шутя мордой затолкнул мальчика во внутрь помещения. Толкнул шутя, но так сильно, что Санек чуть не упал, задев за порог.

- Ты это брось свои замашки. Не до игр сейчас. А будешь толкаться - сена могу и не дать! - строго заметил мальчик, глядя в глаза коню.

Конь косил глазом на мальчишку, вид у Чалого был виноватый. Конь привычно зашёл в своё стойло. Санёк стал снимать и развешивать сбрую - в том же порядке, как это всегда делал отец: запряжку; седло; потник; подпругу; ремни; чересседельник; вожжи; подхвостник; лямку; уздечку.

Чуть в стороне от всей упряжи висела плётка, которую Пахом Филиппович сам сплёл из трёх кож разного цвета. Плётка никогда не покидала своего гвоздя - в ином не было смысла. Хлёсткий удар, ожёг, острая боль - не были полезны для дела, и конь не выносил плётки. Он тут же замыкался в себе и долго вынашивал обиду. Чалый был очень обидчив, что тут говорить. А вот ласка и горячий шёпот творили чудеса: они могли высоко вознести коня над любым препятствием. В бою Чалый много раз защищал хозяина, подставляя себя, высоко закинув передние ноги. Санёк на широкой груди коня насчитывал до пяти зарубок, до пяти рубцов. Шрамы временами бледнели и становились еле видимыми.

- Как же ты, Чалый, не уберёг отца?

Санёк закрыл стойло и стоял, глядя на коня. Чалый недовольно фыркнул и отвернулся от мальчика.

- Сам то вон - целый да здоровый! Тебе хоть бы что!

Чалый недобро посмотрел на мальчишку и опять фыркнул. Потом он жалобно как-то заржал и стал перебирать копытами.

- Ну, ладно, ладно. Вижу - ты не виноват. Не держи обиды!

Санёк принёс охапку сена и бросил её в кормушку. Потом налил воды.

- Ну, пока у тебя всё есть, - мальчик внимательным взглядом осмотрелся. - Я ушёл, дел много...

Чалый стоял, погрузив морду в ароматное сено.

Санёк вышел на двор.

Дождь прекратился. Слабая радуга угадывалась в бледной синеве неба.

На дворе по лужам важно ходили гуси. Один гусак, всегда пристававший к мальчишке, переваливаясь и шипя, сразу же пошёл прямо на него. Санёк посчитал, что хватит потакать гусаку и бегать от него. В мальчишке проснулось чувство хозяина. Он взял валяющуюся возле плетня хворостину и крепко ударил ею нападавшего. Гусак от неожиданности опешил, а потом с гоготом бросился в середину гусиной стаи. Долго не мог успокоиться, бормотал и шипел, ходил переваливаясь и переживал случившееся рождение ещё одного хозяина над ним, вожаком стаи.

Видя, что мать и сёстры оставили отца и занялись своими делами возле птиц, Саня крикнул им, ни к кому прямо не обращаясь:

- Ну, как он там?

- Поел немного, заснул, вроде как, - отозвалась мать. - Если пойдёшь, то не разбуди!

Санёк осторожно, на носочках, зашёл в избу. Снял обувь перед горницей, остался в грубых носках. Заглянул в комнату.

- Я не сплю, Санёк. Никак не получается. Заходи. Уехали казаки-то?

- Давно уж.

- Чалого увёл?

- Прибрал.

Надо непременно о чём-то спросить отца. Не молчать же. Да, и ему что-то интересно должно быть.

- Вот, груша уже расцвела. Цветы бело-розовые. Усыпана вся ими. Прямо как снегом замело.

- Рановато в этом году что-то...

Помолчали, собираясь с мыслями.

- Ну, как ты, батя?

- Кашель одолел. А так ничего. Ты, вот что, сын... - отец говорил тише, чем всегда, и медленнее. Там моя шашка, знаешь – кованая, кизлярская. Её травой только успел оберечь. Почисти, поточи. Помнишь, как я делал?

- Конечно! Сделаю!

- Как там Чалый? Очень много раз он меня выручал...

- В стойле он. Сено и вода дадены.

- Теперь вот что. Выбери время - на водопой Чалого своди. Там же на реке поскрести, помыть его надо, гриву расчесать, а иначе колтуны будут. Ну, ты и сам знаешь. В ночное, если получится, сходи с ним, да и лошадей рабочих прихвати. Что ещё? За дровами пора съездить. Мне ещё полежать, чувствую, придётся... Ну, и наколоть дрова следует.

- Сделаю! У колодца надо венец поменять. Можно я заменю?

- Это мы вдвоём сладим. У меня все заготовки есть. Стога вот на дальнем поле рогожей накрой.

Помолчали.

- Что-то главное всё хочу сказать. И кажется, забываю, ускользает что-то, получается, что недоговариваю. Ты вот что. Главное - жить надо, Санёк, по правде. Только за правду держись. Понял? Тогда всё ладно будет. И ещё надо, Саня, чтоб мать наша и девки гордо на мир смотрели, и спокойны всегда были. И чтоб знали, что рядом есть, кто всегда защитит их...

- Это, батя, они замёрзшими какими-то будут. Спокойные, гордые...

- Нет, нет. Огонь внутри всегда гореть должен. Без этого нельзя. Никак нельзя. А теперь засну я. Передвинь меня, чтобы грушу цветущую видеть. Сможешь?

На следующий день, как только крики петухов стали рвать утренний туман, мальчишка верхом на коне отправился на реку. На берегу он полностью разделся, держа Чалого за гриву. Свою одежду, щётку, скребницу и металлическую расчёску он бросил в траве, вскочил на коня и въехал в воду. Пока конь жадно пил Санёк оглаживал его и приговаривал:

- А ты геройский конь, да, Чалый? Тебя оговаривать нельзя. Ты настоящий боевой конь! Могучий, верный! Краса-конь!

Сказанное настолько было верно, что конь даже не кивал ему.

В небе над рекой летало много крикливых стрижей.

Своими стремительными нырками они восхищали Саню:

- Во, дают, звери... Высоко летают, значит, не ждут дождя. Умеют же радоваться жизни!



- Дорогая, я сегодня иду на рыбалку в ночь.
- Знаю, одна щука уже три раза звонила!

Валерий Бохов. Россия.

Саломея

Приключения, почерпнутые
из моря житейского.
Александр Фомич Вельтман.

Начало см. № 54

Продолжение...

КНИГА ВТОРАЯ

Часть пятая

III



К условленному времени дом готов. Отлегло на душе и у Платона Васильевича: дом готов! Три месяца просидел он безвыходно, не был в клубе, нигде не был, даже у Петра Григорьевича, чтоб насладиться лицемерием Саломеи Петровны. Некогда было - дом строил.

Кому из современных не известен современный вкус отделки дома. Платон Васильевич отделал его по вкусу современному, пышно, пестро, все с рогульками, то есть рококо. Залу в греческом вкусе, с колоннами и статуями; гостиную с камином во вкусе восемнадцатого столетия, салон в китайском, кабинет в помпейском, столовую в мавританском; а всю так называемую женскую половину во вкусе французского перерождения: это было несколько комнат истинной выставки производства мебельного, бронзовых дел, фабрик фарфора и хрусталя, фабрик зеркальных, часовых дел мастеров, переплетных, игрушечных и так далее. Что за роскошная спальня, что за ложе Венеры в виде перламутровой раковины на серебряных лебедях; что за удобства для неги, для сиденья, для лежанья, для омовения богини, для созерцания собственной красоты! Где ж это божество? Его еще нет. А все уже готово к его приему. В передней поселены уже официанты, как парадные гороховые шуты в ливрее горохового цвета, с пестрыми аксельбантами на плечах, в штиблетах; в девичьей - не горничные и служанки, а нимфы богини, в кисейных платьях на шести жюпонах, в пелеринках, с платочками на шее, все до одной говорят по-французски, все до одной были в Париже, жили в Палеройяле, заседали во всех *magazin de Paris* и, следовательно, знают, что такое мода, и могут быть образцами светскости, любезности и приличия.

Когда все, по мысли Платона Васильевича, было готово, он возобновил и самого себя: надел новый парик, с каким-то особенным механизмом; вместо плисовых сапогов надел сапоги из лаковой кожи; вместо всего старомодного - все новомодное. Что делать: как ни безобразны, как ни смешны казались ему французские фраки вроде сюртуков с отчекрыженными наискось фалдами; но надо было последовать моде. Нарядившись, он отправился в маленькой новомодной карете на двойных рессорах, с английской запряжкой, - вместо кучера жокей, - прямо в дом к Петру Григорьевичу и Софье Васильевне.

Софьи Васильевны не было дома, а Петр Григорьевич так был рад его приезду, что не знал где усадить.

После вступительной беседы о здоровье личном и всех домашних, потом о влиянии погоды не только на здоровье, но даже на расположение духа, Платон Васильевич откашлянулся и сказал:

- Петр Григорьевич, у меня есть до вас просьба: прошу сделать мне честь посетить меня на новоселье вместе с Софьей Васильевной и Саломеей Петровной; я выстроил новый дом и желаю, чтоб вы и ваше семейство первые осчастливили его своим посещением. Вечеру на чай, без церемоний, как родные. У меня никого, кроме вас, не будет; родных у меня нет; а завтрашний день я хочу провести, что называется, в семье. Вы мне ее замените.

Петр Григорьевич несколько смутился от внутреннего волнения. Он понял, что приглашение сделано не даром, что слово «родные» сказано не даром.

Все это происходило в то самое время, когда дела Петра Григорьевича висели на ниточке, когда Саломея, с досады на отца и мать, дала слово выйти замуж за кого им угодно и когда Василиса Савишна просватала было ей жениха, Федора Петровича; но маменька рассудила, что за подобного жениха Саломея ни за что не пойдет, и определила в невесты Катеньку.

- Так я надеюсь? - прибавил Платон Васильевич.

- Непременно, непременно, мы ваши гости, Платон Васильевич! Это приглашение доказывает ваше расположение к нам, а мы так им дорожим... я думаю, вас в этом уверять не нужно.

- Я не застал дома ни Софьи Васильевны, ни Саломеи Петровны, - продолжал Платон Васильевич, - я завтра готов повторить лично мое предложение... лично повторить приглашение, - прибавил Платон Васильевич, употребив по ошибке предложение, вместо приглашения.

- О, не беспокойтесь, я передам и вперед даю вам слово и за них, - отвечал Петр Григорьевич с чувством нетерпения скорее породниться и с боязнью, чтоб что-нибудь не нарушило мелькнувшей в голове его надежды, чтоб Платон Васильевич не раздумал, чтоб Саломея не заболела до свадьбы.

Платон Васильевич, возвратясь домой с помолодевшим лицом, немедленно приступил к распоряжениям для приема дорогих гостей. Взяв с собой своего дворецкого Бориса, он обошел с ним дом и отдал необходимые приказания насчет освещения, обстановки лестницы деревьями и цветами и насчет угощения. Сто раз обошел он все комнаты, давая дворецкому наставления и повторяя тысячу раз: не забыть, где что поставить, как за все приняться, да непременно сделать опыт над солнечными и газовыми лампами, чтоб они хорошо горели, не коптились и не накурили в комнатах удушливым газом. Платон Васильевич терпеть не мог ламп, ему все казалось, что лампой воняет; но без ламп невозможно было обойтись, - освещение дома не солнечными лампами могло показаться непросвещением.

Утомившись распоряжаться, Платон Васильевич, задыхаясь и едва передвигая ноги, добрался до своего смиренного флигеля; от лаковых сапог сделалось у него что-то вроде подагры, от нового механического парика заболела голова; сбросив с себя модные притеснения, вспомнил он, что забыл распорядиться насчет дамской уборной - все ли там есть, что неравно понадобится Саломее Петровне. Хотел было идти снова в дом, но уже не мог. После обеда, призывая то того, то другого из официантов, он наказывал, как вести себя и что делать: не толкаться, не задевать за мебель, не нанести на сапогах грязи в комнаты, и прочие необходимые наставления для слуг, которые по милости же Платона Васильевича, до реставрации дома, жили свинтусами, ходили замарантусами, зимой в серой дерюге, а летом в пестряди. В первый раз нарядили их гороховыми шутами, как они сами выражались, осматривая друг друга; в первый раз обтянули их во все принадлежности костюма со штиблетами - так обтянули, что им как-то совестно было показаться в люди.

Вечеру Платон Васильевич отправился ко всеобщей, провел ночь без сна; а поутру, в день именин, поехал к обедне. Давно он не посещал храма; но ему нужно было успокоить дух. Возвратясь от обедни и накушавшись чаю, утомление усыпило его, и он, боясь уже заснуть, - заснул против воли. Но задушевные мысли продолжали бродить по дому, заботливо устраивать все к приему гостей, встречать их, угощать и, наконец, высказывать им тайну свою. Сон был то тревожен, то сладок; то казалось, что сильный дождь размыл его дом, и на лице его изображалось отчаяние, досада, морщины становились совершенными промоинами от дождя, и он грозил подрядчику за мошенническую постройку дома; но подрядчик отвечал: «Не тревожьтесь, ваше превосходительство, будьте спокойны, мы вновь поставим, к вечеру все будет готово, это уж наш грех, кирпичами меня надули, худо прожжены». В самом деле, еще не смерклося, а дом снова уже готов к приему гостей, и Платона Васильевича уже беспокоит солнце, стоит себе на одном месте, не садится, да и только. Платон Васильевич опять в отчаянии, посылает за Борисом: «Вот, дескать, какой беспорядок, это ни на что не похоже».

- Помилуйте, ваше превосходительство, - отвечает Борис, - кажется, все в порядке! Не угодно ли посмотреть на часы: изволите ли видеть, ваши двумя сутками с половиной вперед ушли.

Смотрит Платон Васильевич, - точно! часы его черт знает куда зашли вперед. «Стало быть, я еще послезавтра буду именинник?» И томительное нетерпение высказывается на лице его. Но вот прошло время, настал желанный вечер, дом освещен, все в порядке. Платон Васильевич ходит по зале, ждет гостей. Едут! Едут! Приехали! Встречены, приняты радушно, угощены. Саломея Петровна смотрит с важностью на Платона Васильевича - кажется, как будто говорит ему: я поняла! На лице Платона Васильевича вылилось все блаженство души, он лежит как лысый юноша, который до времени одряхлел; но подгулял, кровь бросилась в голову, и он румян, как Бахус.

В этой неге сна, которую наяву ничто не могло заменить, Платон Васильевич проспал бы вечер и ночь; но заботливый Борис думал, думал: что ж это барин изволит почивать? чай, уж пора дом освещать да одеваться? - и решил будить барина.

Несколько раз почтительно дотрогиваясь до него, он повторял: «Ваше превосходительство!» - и, наконец, принужден был растолкать барина. Возвратить к суете сует от такого сна -

просто нарушение земного блага. Платон Васильевич очнулся, взглянул кругом, и лик его потускнел, вдруг снова состарился...

- Не пора ли освещать, ваше превосходительство? Уж шесть часов.

- А? что такое? - спросил Платон Васильевич.

- Не пора ли освещать? Да что прикажете одеваться? - повторил Борис.

- Зачем? Нет, уж сегодня не поеду, утомился, - произнес Платон Васильевич беспamięтно, сквозь сон, который снова стал его клонить.

- Да как же, ваше превосходительство, ведь вы ожидаете гостей; приказали, чтоб к восьми часам всё было готово.

- Что еще готово?

- Да как же-с, ведь гости будут?

- Какие гости?

- Я не могу знать... ваше превосходительство!

- Погоди! еще рано!

- Ваше превосходительство! Французу кондитеру спросить что-то нужно!

- Ну, спроси, что?

- Да что ж мне спрашивать его? Я говорил ему, что самовар еще рано ставить, вода перекипит, так он не слушает меня. А чай будет дрянь, на мне же изволите взыскать... Привез каких-то конфет к чаю; я говорю: что с конфетами чаю не кушают, что нужно белого хлеба, да он и слушать не хочет. Я ему говорю: «Не за свое, брат, взялся! Уж где тебе знать вкус в чаю? Не ваш, мусье, продукт...»

- А? - произнес сквозь сон Платон Васильевич и очнулся вполне. - Который час?

- Я докладывал, что седьмой.

- Седьмой? Ах, боже мой, что это со мною случилось! Как я заспался! Что ты меня не будил? Давай поскорей бриться и одеваться! Велел зажигать лампы и люстры?

- Зажечь не долго, все подготовлено; сейчас велю.

- Чтоб сейчас зажигали! Бриться, бриться поскорей! Я опоздаю! Приедут - дом не освещен и хозяина в нем нет...

Туалет Платона Васильевича обыкновенно очень долго продолжался, особенно с некоторого времени. Уходу над старой головой, которая хочет молодиться, ужасно как много; работа сложная - вырывание щетинистых волос из бровей, чистка зубов, ногтей, опыт - нельзя ли как-нибудь уладить морщины; долгое смотрение в зеркало - сперва прищурившись, потом вытаращив глаза: каков, дескать, я сегодня? пленительно выражение лица или нет? есть огонь в глазах, или они тусклы? и так далее...

Все это исполнил Платон Васильевич, но торопливо. Торопливость, однако же, не мешала ему заметить, что каналья перрюкье надул его: волоса под цвет, но гораздо толще, ужасно какие грубые - совсем не благородные волоса! Для доказательства Платон Васильевич долго сравнивал свой волос с волосом парика на свет и бранился по-французски.

Но вот он нарядился, подали карету, и он переехал из флигеля к подъезду дома. Зорко глаз его обегал все предметы; казалось, все было в порядке: цветы на лестнице пахнут довольно сильно, освещение истинно солнечное, лучи от ламп и свечей, не зная куда им деться, бросаются снопом в глаза, колют зрение, нельзя выносить; а между тем Платону Васильевичу кажется, что все еще как-то темно в комнатах. Осмотрев себя в зеркалах, он пробрался в уборную, сделал французский учтивый выговор дежурной девушке, что она не должна ни на шаг удаляться от своего поста, спросил, есть ли шпильки и булавки, иголки и шелк... Всё есть. Довольный собою и всем, Платон Васильевич спросил себе стакан воды. Один из гороховых официантов побежал в буфет, принес на серебряном подносе.

- Это что такое? - вскричал Платон Васильевич, - лапы без перчаток?

Только что он начал выговор Борису за эту неосмотрительность, вдруг слышен на дворе стук экипажа.

- Едут! - проговорил Платон Васильевич и торопливо пошел к лестнице.

- Здесь Платон Васильевич? - раздался голос у крыльца. - Прекрасно, прекрасно!

«Петр Григорьевич!» - подумал Платон Васильевич, готовый уже встречать гостя.

- Платон Васильевич! Здравствуйте! Прекрасно! Прекрасно! Ей-богу, прекрасно!

Платон Васильевич обомлел от ужаса: на лестницу взбирался толстый Иван Васильевич, клубный его сочлен, рекомендовавший ему архитектора.

- Бесподобно! Видите ли, моя рекомендация! Каков архитектор! Я еду, да вижу - что это значит? Неужели дом Платона Васильевича поспел? И заехал. Смотри, пожалуй! Что, как ваше здоровье? А у нас сказали, что вы при смерти. Прекрасно! Вы одни, или у вас гости?

- Нет, я так велел попробовать осветить, - отвечал с досадой Платон Васильевич.

- Бесподобно! Вот ведь вы видели мой дом? Гораздо хуже, а тот же строил! Ну, конечно, средства не те... Бесподобно!

- Не дурно, - отвечал Платон Васильевич, не зная, как ему отделаться от неожиданного гостя.

- Вы в клуб едете?

- Нет, еще рано; а вы?

- Да, да, я приеду.

- Так поедemте вместе, - сказал толстый Иван Васильевич, садясь на диван. - Лестница у вас, кажется, немного крута; что бы вам сделать отлогую... Фу! Устал.

- Я еще не могу ехать, - отвечал Платон Васильевич, не обращая внимания на замечание о крутизне лестницы. - Я приеду, а вы, пожалуйста, подготовьте партию... мне надо распорядиться да поехать сейчас кое-куда. Эй! человек! Карета моя готова?

- Распрягли, ваше превосходительство.

- Так покуда запрягут, и я подожду, потому что еще рано. Пойдемте-ко, пойдемте, покажите устройство комнат.

И Иван Васильевич, не обращая внимания на хозяина, побрел, переваливаясь, по комнатам, повторяя: «прекрасно, бесподобно!» Он добрался уже до спальни и уборной; но Платон Васильевич поторопился вперед и, приперев двери, сказал:

- Здесь еще не отделано.

- Э, да ничего, я посмотрю вчерне... Мне любопытно знать расположение жилых комнат.

- Тут и пройти нельзя... свалена мебель. Пойдемте сюда. В это время притворенная Платоном Васильевичем дверь в спальню приотворилась, и из нее выглянуло женское личико...

- А! понимаю! - сказал улыбаясь Иван Васильевич, - это женская половина, вещь необходимая. Вы бы так и сказали, Платон Васильевич. Что тут скрывать? Вещь обыкновенная...

Платон Васильевич готов был съесть дерзкую девчонку, которая осмелилась отворять двери.

- Извините, - сказал он Ивану Васильевичу, - это точно женская половина, но она приготовлена для моей сестры, которую я ожидаю. Эй! Карета готова? Извините, мне надо торопиться. До свидания.

- Так вы будете в клубе?

- Я думаю.

- В котором часу?

- Это зависит от обстоятельств.

Платон Васильевич, провожая неожиданного гостя, готов бы был столкнуть его с лестницы. Вдруг бежит официант.

- Человек от Петра Григорьевича; Петр Григорьевич приказал кланяться и извиниться, что не может пожаловать чай кушать: Саломея Петровна изволили заболеть.

- Ах, боже мой! - проговорил Платон Васильевич дрожащими губами.

- Ты, брат, от кого? - спросил Иван Васильевич, спустившись с лестницы.

- От Петра Григорьевича Бронина.

- Так не будет?

- Не будет-с по той причине, что Саломея Петровна не совсем чтобы так здоровы-с.

- Жаль, жаль, очень жаль!

Иван Васильевич уехал, а Платон Васильевич долго ходил еще по комнатам, сложив руки и склонив голову. Никогда еще не чувствовал он такой тоски. Устарев в привычке жить по произволу желаний, в зависимости от самого себя, ограничив все потребности души и тела удовольствиями, приобретаемыми за деньги, Платон Васильевич в первый раз почувствовал, что что-то над ним тяготеет, что он к чему-то прикован, что он весь не свой. В нем проявилась какая-то смертельная жажда, которая отбила охоту ко всему издавна-обычному, потушила все прочие желания, все ежедневные прихоти, которыми довольствовался столько лет дряхлый холостяк. Жажда нарушила застой души, взволновала ее, возмутила...

- Туши свечи! - проговорил он, наконец, - или постой; где человек Петра Григорьевича?

- Он уже ушел, ваше превосходительство, - отвечал слуга.

- Зачем же он ушел, когда я ничего еще не сказал!

- Не могу знать-с.

- Дурак! Где Борис? Борис! Что ж ты нейдешь, когда кличут? Зачем отпустили человека без моего приказанья?

- Кто ж его отпустил, ваше превосходительство. Он пришел, сказал, что велели, и ушел.

- Что ж он сказал?
 - Да то, что господа не могут быть: барышня, вишь, будто бы заболела...
 - Будто бы! Я даже не успел спросить - чем заболела! А ты, дурак, не догадался? Карету!
 - Давно готова-с.
- Платон Васильевич прошелся еще по комнатам, потом спустился с крыльца.
- Куда прикажете? - спросил лакей.
 - Пошел домой! - отвечал Платон Васильевич.

Дверцы захлопнули, лошади двинулись - сделали десять шагов от подъезда дома к крыльцу флигеля. Лакей побежал вслед за ними, открыл дверцы кареты и принужден был крикнуть: «Приехали, ваше превосходительство!» - потому что Платон Васильевич успел уже забыться в горестных помыслах.

Молча он выбрался из кареты, вошел в свою комнату, сел - и сидит, как гость в ожидании хозяина. Еще девять только часов; что ему делать до обычного второго за полночь часа возвращения из клуба? Бывало, с двух до двух, хоть плохо, но спится; потом визиты, потом обедать в клуб или на званый обед, потом на вечер, в концерт, в театр, а в заключение снова в клуб. Сколько новых впечатлений, сколько разговоров о какой-нибудь грации театральной, сколько прений о том, кто с чего ступил и почему так ступил, с добрым или злым намерением пошел в вист, умно или глупо сыграл! Сколько сладких воспоминаний об удачной покупке; сколько мыслей и дум о том, что ежели бы так пошел, а не так, так совсем была бы другая игра. Было чем занять время бессонницы, было чем позаняться и воображению во время сна. И вдруг все стало нипочем! И клуб нипочем, и даже обед клубный нипочем! Обед, который дороже цены своей, который переваривается в самом прихотливом желудке, - обед, заставляющий о себе думать и говорить, который при одном воспоминании производит саливацию, как ртуть; обед, которым можно начинить себя и уподобиться душистому блутвурсту... И все это стало для Платона Васильевича глупо, бессмысленно, отвратительно, недостойно человеческой природы, пошло, невыносимо. Он предпочел всему этому безмолвное, неподвижное сидение у себя в креслах, созерцание чего-то в мыслях своих, какие-то соображения о будущности.

Душа в человеке как поток, движущий органические колеса: приподними только ставни, сердце шестерней заходит. И в преклонном возрасте влюбиться и любить не трудно, но трудно уже выносить изменчивость погоды любви: ее жар наводит изнеможение, ее холод ломит кости, как ревматическая боль.

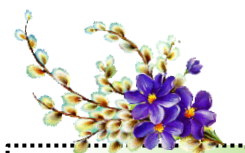
Не смыкая глаз в продолжение всей ночи от подобной боли, Платон Васильевич рано поутру послал Бориса на лошади - свидетельствовать свое почтение Петру Григорьевичу. Узнать о состоянии здоровья Саломеи Петровны. И спросить - можно ли ему навестить их. Борис не любил быть простым Борисом в кругу своей братьи, но любил быть Борисом Игнатьичем; а потому и вел себя соответственно этому сану. Если его куда-нибудь посылали, то он не бежал сломя голову, но сохранял собственное свое достоинство. Придет, изъявит свое почтение, спросит по обычаю: «Как вас Бог милует?» - «Слава Богу, Борис Игнатьевич!» - «Слава Богу - лучше всего... Что, господа, чай, еще не вставали?» - и с этого заведет политичный разговор, как водится.

У Петра Григорьевича в дворне был все словоохотливый народ, да и было о чем поговорить - историй в доме случалось не мало: барин вкось, барыня врозь, а Саломея Петровна всему наперекор. Только Катериной Петровной не могли нахвалиться, да зато об ней и славы мало и слова нет: хороша, - ну и слава тебе, Господи, о чем тут и говорить.

Нетерпеливо ждал Платон Васильевич возвращения Бориса; ему хотелось поскорее лично изъявить свое участие.

- Ну, что? - вскричал он, выбежав в переднюю навстречу Борису.
- Да ничего-с. Все еще не так здорова...
- Ах, Боже мой! Ты видел самого Петра Григорьевича?
- Никак нет-с.
- Что ж, узнал - чем Саломея Петровна нездорова?
- А Бог ее знает, что с нею приключилось...
- Дурак! «Бог ее знает»! Как говорит! Не мог спросить основательно...
- Да у кого же спрашивать-то?
- В людской ни одной собаки - не самому же идти без доклада.
- В кухне только кухарка; я ждал, ждал; воротился Иван-дворецкой, да тотчас же поскакал опять...

- Господи, неужели так опасно больна Саломея Петровна? - Да уж, верно, так; Федор попался навстречу: беда, брат, говорит.



*Как говорит
тетя Соня: -
«Один раз
замуж
выходят
только
ленивые».*

- Ах, Боже мой! Я поеду сам... Давай одеваться!
- Нет, уж не беспокойтесь, ваше превосходительство; дело-то никак не ладно.
- Умерла! - вскричал Платон Васильевич.
- Нет, хуже! Изволила бы отдать душу Богу - тело бы на столе лежало. А тут...
- Ну!
- Ни души, ни тела. Пропала.
- Что такое? как пропала?
- Да как пропадают? Всех людей разогнали искать по городу. Так уж где искать..?

Платон Васильевич покачнулся на месте. Борис едва успел подхватить его под руки и бесчувственного опустил в стоявшее подле вольтеровское кресло.

КНИГА ТРЕТЬЯ

Часть седьмая

I

Читатели, вероятно, имеют какое-нибудь понятие а Москве, из каких-нибудь «Voyages en Russie», или из журнала впечатлений. Из первых вы, без сомнения, составили себе ясное понятие об ее наружности, а из вторых об ее жителях, нравах и обычаях. Вообще из этих описаний вам известно, что Кремль стоит подле Ивана Великого, что Сухарева башня у Тверских ворот, что Тверские ворота на Пречистенке, что Москва-река течет под самым Замоскворечьем, и тому подобное. Вам, следовательно, нечего описывать Москву, вы ее знаете настолько, насколько подобает знать русскому человеку. Приступаю к рассказу.

В один туманный день августа в Крестовскую заставу прокатила коляска четверней. Часовой опустил было шлагбаум, но слуга крикнул:

- Из подмосковной! - и коляска свободно проехала.

В коляске сидели два господина - один поплотнее, похожий на московского барина, прислонясь в угол, дремал; другой - сухощавый, лицо бледноватое, глаза прищурены, наружность значительна, похож был на петербургского начальника отделения или чиновника по особенным поручениям, - словом, лицо значительное, а по личному мнению, даже государственное.

- Наконец я в Москве! - сказал сей последний, приложив к глазу лорнет, - посмотрим, что за зверь Москва! Вы, пожалуйста, указывайте мне на все любопытное.

Едва показалось вправо готическое здание, обнесенное зубчатыми стенами, с башнями, похожее на рыцарский замок средних времен, молодой человек снова приложил лорнет к глазам и вскрикнул:

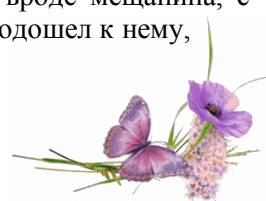
- Это Кремль?
- Кремль, - отвечал плотный барин, не раскрывая глаз.

Петербуржец промчался. Оставим петербуржца и последуем за толпой колодников, которых вели по улице. Вслед за ними везли на подводе женщину в простой крестьянской одежде. Когда весь этот транспорт приблизился к запертым воротам замка, перед которыми, однако же, не было подъемного моста, часовой подал знак в калитку с разжелезненным окошечком: сперва пропустили унтер-офицера, препровождавшего транспорт, а потом отперли адовы ворота, которые, раскрывшись как челюсти апокалиптического зверя, проглотили весь транспорт и закрылись с скрежетом зубов.

На внутреннем дворе этого замка прохаживались в самом деле не люди, а мрачные тени. Не будем описывать человеческого образа, искаженного страстями и преступлениями. Отделясь от безобразной толпы, кто-то, в изношенном пальто, в картузе, заложив руки в карманы, ходил скорыми шагами вдоль двора. По лицу и взорам его можно было заметить, что и он ставил душу свою на кон; но в наружности его не было глубоких оттисков преступлений, в глазах не было ответа за чужую душу. Он был еще, казалось, новичок на этом новоселье, смотрел на окружающие его высокие стены и на «честную компанию» без удивления, но с каким-то особенным любопытством и как будто спрашивал сам себя: «Черт знает, куда я попал!»

Долго следил за ним глазами один из «честной компании» - что-то вроде мещанина, с острой бородкой, ряб как кукушка, глаза как у ястреба; наконец крякнул и подошел к нему,

- Ты, брат, кто таков?
- Человек! - отвечал новичок, посмотрев на него.
- Крепостной то есть? Я думал, что какой барин, честной господин.
- Ну, хоть и барин, честной господин, а тебе что?



- Что? Врешь, брат! Не туда глядишь! А я тебе вот что скажу: ты за что попал - за воровство или за разбой?

- Да тебе-то что, борода?

- Нет уж, ты, брат, не кобянься. Лучше будет, ей-ей лучше будет! А не то, брат, не выгодишься отсюда; уж я тебе говорю - я ведь не отстану от тебя, понимаешь?

Новичок посмотрел на плутовскую рожу с острой бородкой, которая так настойчиво делала ему допросы.

- Если по делу попал, так говори: доказательно или нет?

- Я, приятель, не по делу здесь, а по наговору.

- Приятель еще не приятель, а будем приятелями. По наговору, брат, хуже, чем по делу. Я тебе скажу, примерно вот: я бы на допросе показал, что ты потчевал меня в трактире, да подговорил на какое дело... Понимаешь? Ведь я за тебя здесь сижу.

- Пьфу, дурак какой! Кто ж тебе поверит?

- Кто? Кому следует, тот и поверит. А я тебе вот что скажу: хочешь на волю?

- Эй, ребята, смотрит-ко, француженку какую-то привезли! Пойдем! - крикнул один из заключенных. - Триша, пойдем! - сказал он, проходя мимо острой бородки.

Толпа двинулась к воротам женской половины.

- Вот сейчас выйдет из канцелярии.

В самом деле, привезенную женщину вскоре вывели под руку из канцелярии. Несмотря на простую одежду, во всей наружности ее было что-то горделивое, хотя и страдальческое. Бледное лицо ее было нежно, впалые глаза не бессмысленны. Охая, она вышла, окинула взором безобразную толпу, и взор ее остановился на упомянутом нами человеке в пальто. Движением головы, взора и дрожащих губ она страшно погрозила ему.

- Что, она тебе знакома, что ли? - спросила новичка стоявшая подле острая бородка.

- Да. Вот это и есть та безумная, которая привязалась ко мне и оговорила меня...

- А кто ее разберет - безумная или нет? Ведь она француженка, говорят. А ты - сиди да посиживай. Да еще как я поднесу тебе... - так, брат, тебя, того, сперва распишут; а потом, знаешь куда..?

- Черт! Ты шутишь или нет? - содрогнулся новичок.

- Нет, не шучу. А я тебе скажу вот что: хочешь по рукам?

- Вместе грабить или резать? Врешь, любезный! Что будет то будет, а я тебе не товарищ.

- Не бойся, тут худого ничего не будет. Ей-ей ничего. А так - штука, багатель!

- Говори.

- Давай руку! Не бойся, все будет честно.

- Что за руки! Говори просто, в чем дело.

- Я, пожалуй, скажу. Да скажу тебе и вот что: уж если повихнешься, так я на тебя горы взыщу! Мне все равно пропадать. Вот видишь, смекай: я был у купца Василья Игнатича Захолустьева приказчиком; а у него был славный чайный завод, да дрянной сынишка Прохор Васильевич. Вздумал он заводить суконную да филатурную фабрику, и вымолил у отца дозволение ехать в чужие земли машины заказывать. Такие машины, каких в целом свете нет: сами овец стригут, сами шерсть на сорты делят, сами аглицкое сукно ткут, ну, словом, из машины выходят готовые штучки сукна самой лучшей доброты, всех колеров. А про филатуру и говорить нечего. Бывало, красные девушки прядут - сами песни поют. А теперь - всё самопрядки, всё с органами, под немецкую музыку... хошь не хошь ты, а пляши. Да дело не о том. А вот что я тебе скажу: поехал Прохор Васильевич - да и поминай как звали! Вот уж другой год - ни слуху ни духу. Понимаешь?

- Ну, что ж из этого?

- А вот что я тебе скажу: Василий Игнатич за сына согнал меня от себя: виноват я, что Прохор Васильевич брал деньги без спросу! Согнал меня, брат, без копейки. Пустил по миру. Что ж тут будешь делать? Надо было добывать. Да не о том дело. А вот что: как взглянул я на тебя - Прохор не Прохор Васильевич, а есть что-то... Понимаешь? Этого, брат, уж довольно. Лишь бы на первый взгляд похож был; а там - мое дело будет снарядить как следует. Ладно?

- Ладно, - отвечал новичок.

- Коли ладно, так я тебе вот что скажу: ты конь, а поводья у меня в руках: вывезешь на славу - будет все ладно, а заноровишь - извини...

- Ах ты, шитая рожа, вязаный нос! Мало тебе зубов-то отец выколотил за меня! - крикнул новичок, - мошенник Тришка вздумал на мне верхом ездить!

- Да неужели это вы... сударь... Прохор Васильевич?! - проговорил, оторопев, озадаченный словами новичка острая бородка, всматриваясь в него.

- Не узнал, плут?

- Признал, да не узнал... да нет! Пьфу!

Новичок захохотал во все горло.

- Ну, брат, озадачил! Да в тебе бесовская сила! Как заговорил, да замотал головой - живой Прохор Васильевич! Ах ты собака! Да кто ты такой?

- Черт! - отвечал новичок.

- Ей-ей черт, с тобой можно дела делать! А в списках-то - как ты значишься? Верно, «ни роду ни племени не имею, откуда - не помню, имя и отчество позабыл», так? Теперь, я тебе вот что скажу...

Зазвенел колокол, староста закричал: «По местам, на перекличку!»

- Эх, досада! - сказал острая бородка, - ну, до завтра, приятель!

- Торопиться не для чего, - отвечал новичок, - тише едешь, дале будешь. Притом же здесь очень недурно: кормят калачами. «Вот она, нужда-то, где заставит калачи есть! Насилу понял пословицу! Ну, брат Вася Дмитрицкий, посмотрим, какая будет тебе доля дальше!»

Новичок, в котором мы узнаём героя повести, отправился на перекличку.

- Прибылых отдельно, - сказал смотритель, выходя со списком, - который тут неизвестный, выдающий себя за графа Черномского?

Никто не отвечал.

- Ну, ты, что ли?

- Нет, не я, - отвечал Дмитрицкий.

- Как не ты?

- Я никогда не выдавал себя за графа Черномского; я ехал с одним графом Черномским, а какая-то сумасшедшая женщина привязалась ко мне...

- Да это вы покажете на допросах. А теперь нам нужно внести в список имя и прозвище.

- При допросе скажу я и свое имя, - отвечал Дмитрицкий.

- Ну, в таком случае в общую!

- Ваше благородие, женщина, что привезли ввечеру, нейдет на перекличку, бормочет что-то по-своему, Бог ее знает, хоть тащи за руки и за ноги, - сказал пришедший унтер-офицер.

- Верно, иностранка; перевести ее в особую!

- Ай да молодец, Саломея Петровна, - проговорил Дмитрицкий, уходя за прочими заключенными.

На другой день, когда уже вся честная компания замка, после раздачи калачей, которыми наделил всех какой-то почтенный купец, прогуливалась по двору, вдруг от ворот пошла весть: «Стряпчий приехал!» - и вслед за ней вошел, сопровождаемый смотрителем, какой-то в мундирном фраке щегольски одетый чиновник. Все заключенные затолпились около него с поклонами. Одна рыжая борода, растолкав прочих и выдавшись вперед, снова поклонился.

- Что ты?

- К вашей милости; поговорить нужно.

- После, погоди немного.

- Вот, ваше благородие, вот я совсем занапрасно страдаю, - начал было другой.

- Говорят - после! Где француженка?

- А вот пожалуйста, она в особой.

- Я также буду просить вашей защиты, милостивый государь, - сказал и Дмитрицкий по-французски, выступив навстречу чиновнику, который невольно приостановился, услышав французский язык посреди русской речи.

- Кто вы, милостивый государь?

- Я только вам одним могу сказать, - отвечал Дмитрицкий, - странный случай лишает меня доброго имени.

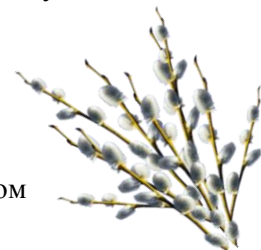
- Очень хорошо, я займусь вами сейчас, - сказал чиновник, проходя в женскую половину.

- Где же француженка?

- А вот, пожалуйста.

В отдельном покое, на койке, приклонясь на подушку, сидела женщина в простонародном платье: платок с головы ее был сброшен, черные волосы раскинулись по плечам и осеняли истомленное бледное лицо; под густыми ресницами глаза ее опущены были в землю. В положении ее была какая-то сценическая грациозность; несмотря на место и одежды, каждый читающий романы и посещающий театры отгадал бы в ней героиню, которую судьба преследует и бросила на жертву несчастиям.

- Madame, - начал чиновник, садясь подле на деревянный стул, - вы француженка?



Женщина, как будто услышав родной язык и приветливый голос образованности, содрогнулась, вспыхнула и закрыла лицо рукой.

- Madame, - начал снова чиновник, - откройте мне вашу судьбу. Чем только в состоянии помочь вам... чем только могу успокоить вас... Вы можете надеяться, что я исполню; я уверен, что какой-нибудь необыкновенный, несчастный случай...

- О, если б вы знали! - вскрикнула женщина по-французски.

- Сделайте одолжение, передайте мне: моя обязанность есть обязанность гуманическая - находить и извлекать несчастье из среды преступления. Вы позволите мне узнать ваше имя?

- О, позвольте мне хоть скрыть свое имя от этого поношения, в которое меня бросила судьба! Несчастья мои невообразимы! Но нескольких слов достаточно, чтоб вы поняли все: я дочь одного из известных людей во Франции. В доме нашем появился один русский путешественник; образованность и наружность его меня пленили. Он меня увез... Долго мы путешествовали, наконец приехали в Россию - и он бросил меня! Я должна была идти в гувернантки к одному помещику. Красота моя была причиной ненависти ко мне жены его, и вот в одну ночь меня схватили и повезли сама не знаю куда... Очнувшись на мгновение, помню только, что была посреди леса, в этой одежде.

- Скажите пожалуйста! - вскричал чиновник.

- Потом я уже не помню, что со мной было; больная, страждущая, я очнулась снова. О, я не в силах говорить! Вы можете понять, вы видите...

Женщина зарыдала.

- Какая страшная судьба! Я доведу это немедленно до сведения... Это ужасно! Несчастье - не преступление, и будьте уверены, что вы сегодня же будете свободны. Вся Москва примет участие в вас.

- О нет, не разглашайте, умоляю вас! В этом положении я не могу никого видеть.

- Но как же быть? Вам нужна будет помощь. Московские дамы...

- Нет, нет, нет! Я прошу только покуда какой-нибудь приют, где бы я могла отдохнуть, скрыться от всех глаз.

- Очень жаль, что не могу вам предложить свой дом. Но во всяком случае, я позабочусь, чтоб исполнить ваше желание, - сказал чиновник, встряхивая табакерку.

- О, как вы добры! - сказала женщина, посмотрев нежно на него и взяв его за руку.

- Madame, такое существо, как вы, внушает прекрасные чувства, - сказал чиновник с романтическим выражением, заинтересованный и судьбой жертвы несчастья, и самой ею.

Так как жертва несчастья - иностранка, в списках она показана была только неизвестной беспаспортной, найденной в горячечном состоянии на улице, то нетрудно было исходатайствовать ей свободу.

Исходатайствовав свободу, стряпчий позаботился и о приюте. В английском клубе встретил он одного Ивана Ивановича и тотчас же к нему адресовался:

- Не знаете ли какого-нибудь хорошего места для одной француженки?

- Какого же места - в гувернантки?

- Нет, в гувернантки она не согласится: это - женщина с образованием и с чувством собственного достоинства. По странному случаю, она теперь на моих руках.

- Например?

- После расскажу; долгая история.

- Какое же место? Та-та-та-та! Платон Васильевич Туруцкий... говорил мне что-то...

- Туруцкий? Что его давно не видать?

- Совсем охилел, в клуб не ездит. Я как-то на днях заезжал к нему; какой славный дом отделал, чудо! То есть, меблировал хорошо. А что касается архитектуры, то я вам скажу - ни с кем не хотел посоветоваться. Жаль, что вы не были у меня в деревне: вы бы посмотрели, что за дом на пятнадцати саженьях, что за расположение! Имею полное право сказать, что ни один архитектор своего ума не прикладывал, все - сам!

- Позвольте! - сказал гуманист, нюхая табак и поднося табакерку Ивану Ивановичу.

- Вы думаете, что без архитектора нельзя и обойтись?

- Нет, не то. Меня заботит теперь эта француженка; вы что-то упомянули о Туруцком...

Для чего же ему нужна француженка?

- А Бог его знает! У всякого свои капризы, иногда и не по летам...

- О, если так, то я не намерен быть поставщиком этого рода увеселений.

- Ну, ну, ну, это шутка. Я никак не думаю, чтоб в его лета... Да, я теперь вспомнил: он отделал дом для сестры своей; так кажется, что для нее и нужна француженка в компаньонки.

- Это дело другое. Так вы, Иван Иванович, скажите Туруцкому, чтоб он взял в компаньонки эту француженку.
 - Хорошо, хорошо; непременно скажу!
 - Вы не забудете?
 - Как можно!
 - Только скажите ему, чтоб он дал ей хорошее жалованье: тысячи две, три.
 - Конечно, не меньше.
 - И чтоб обходились с ней с некоторым уважением: savez-vous, que c'est une personne de dignit одной из лучших французских фамилий.
 - Право? Каким же образом она очутилась здесь и соглашается идти в компаньонки?
 - Обстоятельства, несчастный случай.
 - Хороша собою, молода?
 - Н-да, во всех отношениях замечательна.
 - Можно ее видеть? Потому что, если не удастся определить к Туруцкому, я готов взять ее на свое попечение - устроить судьбу ее. Отчего же не помочь прекрасному существу?
 - Да, да, конечно, это не худо. Впрочем, я сам побываю у Туруцкого.
 - Да зачем же? К чему вам беспокоиться? Я сегодня же его увижу.
 - Ah, bon jour! - сказал ходатай нашей француженки Саломеи, обращаясь к одному из знакомых, чтобы отвязаться от Ивана Ивановича, который чересчур уж заинтересовался судьбой неизвестной особы, происходящей от одной известной французской фамилии.

(Продолжение следует)

Александр Фомич Вельтман.



Я знаю, ничего не повторится...

Я знаю: ничего не повторится
 Под этим небом хладно-голубым.
 Куда-то вдаль опять умчатся птицы,
 Вчерашнее рассеется как дым.

Но может быть, нам вспомнятся однажды
 Весенний вечер, бронзовый закат.
 И каждый час, и миг той встречи каждый
 Вернутся к нам, и нас вернут назад.



Шепнут мне что-то длинные ресницы,
 И соловьи начнут вновь ворожить...
 Я знаю: ничего не повторится.
 Но надо жить. Но надо дальше жить.

Владимир Бодров

Бабушкина молитва

Как хочу я порою взглядеться
 Сквозь года, их полет невесомый,
 В то мое быстроногое детство,
 Пролетевшее в дедовском доме...

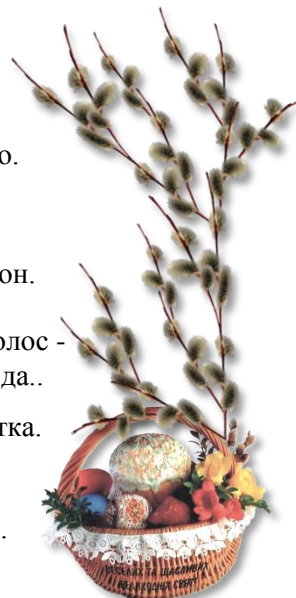
Поздний вечер, в избе пахнет тестом.
 Свет из кухни бежит до порога.
 Это бабушка за занавеской
 Тихим шепотом молится Богу.

Ночь минула, рассеялись тени.
 Обещает денёк быть погожим.
 В печке свет - и она на коленях
 Снова просит о милости Божьей...

Время мчится неудержимо.
 Отчий дом - моей жизни начало.
 Я его благодатью хранима.
 Я сама уже внуков качаю.

Старый дом мой гармонии полон.
 Ощущаю ясней год от года,
 Как звучит во мне бабушкин голос -
 Всех молитвенниц древнего рода..

Утром жалобно скрипнет калитка.
 Это бродит вокруг дома ветер.
 Будто бабушкина молитва
 Снова будит меня на рассвете...



Сайт «Свете Тихий»

Нина Окулова.



Письма читателей

15-4-2017 Христос воскрес! Дорогая Тамара Николаевна! Сердечно поздравляю Вас со светлым Пасхальным праздником! Духовной Вам радости, сердечного мира и, конечно, новых творческих горизонтов в Вашем благородном служении русской литературе. Обнимаю,

Ваша **Татьяна Гладких**. Д.В. Россия.



Любви желаю и чудес,
И радость жизни нам с небес
разносит людям Благовест...

Христос Воскрес!

Христос Воскрес!

С уважением. Евгений К.

16-4-2017 Христос Воскрес! Тамара, здравствуйте! Поздравляю Вас Тамара и близких Вам людей со Светлым Праздником - Воскресением Христовым! Пусть свет этого Светлого Праздника с верой надеждой и любовью помогает в добрых делах! Мира добра и счастья желаю! **Евгений Кульба**. Россия.



16-4-2017 От всей души поздравляю
с Воскресением Христовым!

Счастья, любви, мира!

Иван НЕЧИПОРУК. Донецк.



10-2-2017 «Жемчужины Русского Слова»

Вышел в свет 69 номер русского литературного журнала традиционно классического образца «Жемчужина», издаваемого в Брисбене(Австралия) Тамарой Малевской.

Для меня - большая честь иногда публиковаться в этом интересном и содержательном сборнике и находить свое имя среди его авторов. Тамара Малевская издаёт свою «Жемчужину» на протяжении 18-ти лет, являясь при этом не только издателем, но и редактором, а также художественным оформителем. Журнал не является коммерческим проектом, он - плод любви и верности Великой России и её драгоценному наследию, во многом утраченному, искаженному и преданному забвению. «Жемчужина» широко себя не рекламирует; её находят те, кто готов её найти, кто ищет и питает жажду по отческому Слову, идущему от русских древних летописей, творений Пушкина, Державина, Лермонтова, Тютчева, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Льва Толстого, Чехова, Бунина, Шмелёва, Ивана Ильина. Хочется пожелать Тамаре Малевской и её замечательной «Жемчужине» дальнейших творческих свершений, красоты и вдохновения, процветания и открытий, а также и иных бесчисленных милостей Божьих во славу Отечества нашего и всеобщего блага!

Небольшая справка о создателе «Жемчужины» Тамаре Малевской:

Тамара Малевская родилась в Харбине. Жила и училась в трех странах на трех языках.

С 14-ти лет живёт в Австралии. Сама пишет стихи, очерки, рассказы, занимается также переводами. Автор изданных книг: «Страна отцов», «Душенька», «Серебряный город».

Член Российского союза писателей. По её признанию, именно в Австралии впервые познакомилась с изданиями дивной русской дореволюционной литературы, только здесь узнала о величии былой России. Очень понравилось и совершенно совпало с моими взглядами следующее высказывание Т. Малевской, прозвучавшее в интервью Светлане Тишкиной для православного литературного объединения «Свете Тихий» «Журнал мой, как и всё, что пишу - светское, потому что никогда Православие не афиширую и не пользуюсь драгоценной родной верой, как неким входным билетом; я считаю, что надо "быть, а не казаться". Впрочем, так было в дореволюционной России: никогда никто из писателей, да вообще никто, не заявлял о своих убеждениях, но, читая их труды сто лет спустя, сразу видишь, сердцем чувствуешь, что это были действительно, искренно верующие люди. А в нашем современном мире... Православие слишком прекрасно, чтобы его навязывать людям, которые предпочитают смотреть не в небо, а вниз - себе под ноги. И ещё мне кажется, что только предельный такт и чувство меры способны донести свет Православия и чудесную русскую культуру до очерствелых сердец».

(Опубликовано на сайте Facebook) **Владимир Невярович**. Россия.

Письма читателей

10-2-2017 Здравствуй, дорогая моя Томочка! Спасибо тебе за журнал! Даже при беглом чтении он интересен: есть и стихи, и философская проза, и проповедь - призадумаются и взрослые, и дети. И.В. Гёте писал, что во всяком произведении всё сводится к концепции. Тщательно продуманное издание, в которое вложены редактором-составителем и талант, и любовь к людям, и есть произведение искусства. У журнала есть своя концепция. Русским людям в эмиграции журнал подобен глотку живой воды. Порадовало и то, что в журнале много хабаровчан... Для меня большая честь, что и меня напечатали...

Крепко тебя обнимаю. Твоя **Н. Гребенюкова**. Хабаровск.



10-2-2017 Здравствуйте, Тамара Николаевна! Спасибо Вам большое за публикацию! Всегда жду выхода Ваших журналов! ...Сегодня день, когда Мир потерял великого русского поэта А.С. Пушкина! В "Жемчужине" регулярно печатаются его стихи, так же как стихи других русских классиков! Спасибо Вам большое за то, что Вы делаете для русской души и для русского слова!

С уважением, **Павел Грызлов**. Россия.



10-2-2017 Здравствуйте, уважаемая Тамара Николаевна! От всей души благодарю за Ваш замечательный журнал и за новую публикацию моих стихов. Крепкого Вам здоровья, семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всём! С глубочайшим почтением, благодарный Вам, **Владимир Колабухин**. Россия.

10-2-2017 Здравствуйте!

Большое спасибо и за pdf-версию, и за внимание к моему рассказу.

С уважением,

П. Подзоров

10-2-2017 Доброго времени суток, уважаемая Тамара. Благодарю за новую публикацию на страницах "Жемчужины" и пересылку файла журнала. Рад, что наше сотрудничество продолжается... Всех благ Вам в Вашем нелегком редакторском труде и продвижению российских авторов далеко за пределами России. Еще раз с уважением и дружеским расположением,

Фёдор Овшенев. Ростов-на-Дону.

11-2-2017 Здравствуйте, Тамара! Ещё раз благодарю за обширную подборку моих поэтических проб в "Жемчужине". Для меня это большая честь и стимул для дальнейшей работы. О "Жемчужине", к большому сожалению, очень мало знают в России, а журнал по своему уникальный, ибо по-настоящему политически независимый, но не политизированный, литературный в духе нашей отечественной классики и не засоренный современной тарабанщиной. Я продублировал своё сообщение о "Жемчужине" на сайтах... От своих коллег-врачей получаю много положительных отзывов.

Всего Вам доброго! **В.К. Невярович**. Россия.



11-2-2017 Спасибо, дорогая Тамара, за новый выпуск "Жемчужины". С уважением,
И. Арапова. Воронеж.

12-2-2017 Дорогая Тамара! ...Огромное Вам спасибо за новый чудесный номер Жемчужины! Радостно его читать, - с первых же страниц много полезного, интересного и вдохновенного! Дай Бог, чтобы Ваш журнал всегда продолжал радовать читателей и приносить духовную пользу!

С наилучшими пожеланиями, **О. Цвиркун**. Киев.

28-2-2017 Спасибо за информацию. Желаю Вашему журналу достойных авторов и благодарных читателей. **Владимир Бодров**. Россия.



1-3-2017 Добрый день, Тамара! ...Желаю продолжения и успехов в литературном проекте, имею в виду журнал "Жемчужина", он уже долгожитель и занял свою прочную и авторитетную тематическую нишу. Удачи и до новых весточек!

Ваш **Владимир Иванов-Ардашев**. Хабаровск.



Мария Всеволодовна Крестовская

(1862 - 1910 г)

Ранние грозы

Ранние грозы

Продолжение

(начало в № 60)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

V



IX Марья Сергеевна ни за что не хотела брать кормилицу своему сыну и кормила его сама, хотя врачи и считали, что это может иметь очень вредные последствия. Ей было жаль отдавать своего мальчика чужой женщине и разделять с ней его любовь.

Едва оправясь от родов, она уже возилась с ним целыми днями. Он спал в ее комнате, в люльке, стоявшей рядом с ее кроватью, и при малейшем его движении она быстро вскакивала, с радостною тревогой прислушиваясь к его дыханию. В те минуты, когда он лежал у ее груди, тихо причмокивая сморщенным ротиком и прижимая ручонкой ее грудь, и она ясно чувствовала, как ее теплое молоко переходит в него, отделяясь от ее собственного существа, ее охватывало чувство глубокого умиления и даже блаженства. Она смотрела на него с улыбкой во влажных глазах, и минутами, когда он улыбался ей, сжимая крепче ее грудь своими крепкими уже деснами, ей, несмотря на сильную боль, делалось вдруг так хорошо и отрадно на душе, что слезы невольно катились из ее глаз. Она плакала не от горя, но от того страстного умиления, которое в эти минуты наполняло ее... Этот ребенок как бы олицетворял для нее и ее любовь к Вабельскому, и его самого, и лучшие минуты ее счастья с ним. Часто, держа малютку на руках, она припоминала первое время их любви, какую-нибудь мелочь, слово, ласку, которую это красненькое личико вдруг точно подсказывало, напоминая ей. И каждая мысль и воспоминание о любви отца заставляли ее еще нежнее любить сына. Порой она даже не могла решить, кого она любит больше - отца или ребенка. Они оба слились для нее в одно бесконечно дорогое и близкое существо, и один как бы воплощал собою другого. В сыне она любила отца, в отце - сына. Прежде, когда она не видела, бывало, Вабельского дня два-три, она скучала и мучилась ревностью и тоской. Теперь же нередко случалось, что Виктор Алексеевич не приезжал по несколько дней, а разъединение с Наташей чувствовалось сильнее, чем когда-нибудь, но она не замечала одиночества и не испытывала того мучительного чувства пустоты, раздражения и недовольства, которые до рождения Коли так часто нападали на нее. Не видя его, она как бы довольствовалась тем, что его ребенок был с нею. Ребенок постоянными хлопотами и заботами о нем наполнял весь ее день, и, чувствуя это, она думала, что и сама полна жизни. Если бы не болезни Коли и ее собственные, то ей казалось бы, что теперь она совсем счастлива. Эти частые болезни мучили и утомляли ее. В своей страстной любви к ребенку она преувеличивала все опасности и пугалась малейших пустяков. Простая простуда казалась ей опасною и даже смертельною болезнью. Стоило ребенку почему-нибудь раскричаться посильнее, она уже тревожилась и приписывала каприз нездоровью. Если же он действительно немножко заболел, она забывала все на свете, плакала, мучилась, не спала целыми ночами и нетерпеливо меняла врачей, отыскивая все лучших и лучших.

Летом, когда они переехали на дачу, ребенок стал заметно крепнуть и поправляться. По мере того, как он рос, Марья Сергеевна открывала себе в нем целый мир нового счастья. Ее занимало все, каждая мелочь, почти незаметная на посторонний, не материнский взгляд. Она замечала все: и то, что он уже держит головку, что он начал улыбаться, что у него уже режутся зубки и т. д. - и все это доставляло ей радость и счастье. Чутьем матери она понимала каждое его движение, плач, детский лепет вместо слов, неясные и непонятные для других, но не для нее. По тому, как он кричал, она угадывала, чего он хочет: кушать ли, гулять ли. На даче они с Феней и нянькой заняли почти весь второй этаж, предназначив лучшие комнаты для удобства

ребенка. В одной она сама спала с ним, в другой рядом спали Феня с няней, в третьей его купали и т. д. Комната Наташи помещалась внизу; она сама предпочла именно эту, потому что она была здесь от всех наиболее отдалена.

Вабельский раза два-три в неделю приезжал к ним. В нынешнем году он сам, отговариваясь множеством дел, на даче не жил. Приезжая, он почти всегда заставлял Марию Сергеевну или с ребенком на руках, или при нем, или купающей его и только снисходительно на это улыбался.

- Опять возня! - говорил он с легким недоумением, удивляясь этой "бабьей" способности и охоте нянчиться вечно с детьми.

Увидев его, Мария Сергеевна торопливо, но все-таки с легким вздохом, передавала маленького Колю Фене или няньке. Она замечала, что он не любит этой возни, и старалась при нем сдерживаться, боясь рассердить его и вызвать в нем нетерпение. Но хотя она и оправдывала его и даже уверяла себя, что все мужчины вообще не любят грудных детей, в душе ей все же это было немного больно и обидно. "Даже Павел Петрович, - припоминала она (в душе она всегда отдавала ему должное в том, что он был редкий семьянин) - не любил нянчиться с Наташей, пока она мала была; это у них появляется уже потом".

Она не желала, чтобы Вабельский "нянчился". Конечно, это не мужское дело, но ей хотелось только вызвать в Викторе Алексеевиче чувство нежности к ребенку. И замечая инстинктом матери, что этого в нем нет, она огорчалась. Но и в этом случае, как и с чувством неуверенности в любви Вабельского к ней, она, наперекор инстинкту и разуму, старательно обманывала сама себя, боясь признать, что он совершенно равнодушен к Коле.

Иногда Виктор Алексеевич, будучи в хорошем настроении, ласкал ребенка по ее просьбе и желанию, для того только, чтобы доставить ей удовольствие; но, не чувствуя подобного желания в самом себе, он не умел сделать это нежно и ласково.

Когда Мария Сергеевна только что забеременела, Виктор Алексеевич ожидал рождения ребенка с некоторым любопытством и даже интересом, не зная еще, какое чувство вызовет в нем впоследствии его ребенок. Он очень мало обращал внимания на детей, и если они не отталкивали его, то и не привлекали. Он просто не замечал их, а порой и совершенно забывал об их существовании на земле. Во всяком случае, это существование не касалось его и не играло никакой роли в его жизни. Иногда только при виде у кого-нибудь из знакомых красивого и нарядного ребенка лет пяти-шести, который смешил и забавлял взрослых, ему приходило в голову, что, пожалуй, недурно было бы иметь и для себя где-нибудь подобного бутуза, с которым время от времени можно было бы позабавиться.

Когда же у Марьи Сергеевны родился, наконец, ребенок и Виктор Алексеевич увидел в белых пеленках нечто красное, теплое и тихо шевелящееся, он не только не почувствовал радости и любви, но ощутил, скорее, что-то вроде брезгливости. Он почти через силу принудил себя прикоснуться слегка губами, по желанию Марьи Сергеевны, к бархатистому красному лобику, и это вынужденное прикосновение было ему почти противно. С тех пор, боясь повторения этих поцелуев и ласк, он, по возможности, старался избегать не только их, но и самого ребенка.

Это, как казалось ему, постоянно кричащее, хнычущее и бессмысленное существо вызывало в нем порой даже раздражение, особенно в те минуты, когда Мария Сергеевна, слышав его писк, бросала все и, забывая все остальное в мире, даже его самого, поспешно бежала к нему. Виктор Алексеевич положительно не мог постичь возможности подобной "дурацкой" любви. Но с другой стороны, он был этим отчасти даже доволен...

Постоянно занятая ребенком, Мария Сергеевна не требовала уже его "вечного торчания" возле себя, и теперь у нее было меньше времени и возможности следить за ним и за его образом жизни. Он чувствовал себя несравненно свободнее и приятнее, чем в период ее беременности, когда она, под влиянием болезненного раздражения, рыдала и закатывала ему сцены и упреки за каждый просроченный им час. В последнее время перед родами он начал даже сильно побаиваться, что рождение ребенка свяжет, пожалуй, еще больше его свободу, тем более, что развод грозил совершиться скорее, чем он предполагал. Порой, ввиду этой грозившей ему опасности, он подумывал, что самое лучшее теперь будет для него сейчас же уехать куда-нибудь в провинцию или за границу. Но на его руках оставалось еще несколько выгодных процессов и дел и бросить их, передать в руки кому-нибудь другому ему было жаль.

Вследствие этого Виктор Алексеевич был почти всегда не в духе и даже в некотором унынии; он почти не видел возможности освободиться от надетого им на себя "ярма", и это раздражало его. Будь Мария Сергеевна одна, она бы мало смущала его, и он не чувствовал бы себя таким связанным и зависимым, как теперь. Но за ней стоял Павел Петрович, который и составлял главную суть "ярма" для Виктора Алексеевича. Вабельский предчувствовал, что в

случае "чего-нибудь" ему придется иметь с ним очень много неприятностей, и одно предположение об этом уже тяготило его. Но сдаться окончательно, приняв его условия, и жениться на Марье Сергеевне Вабельский все же не хотел; он все еще надеялся, обойдя их, вывернуться из своего "дурацкого" положения. Но все это заставляло его действовать гораздо осторожнее и мягче, чем он поступал бы в ином случае, где он просто разорвал бы надоевшую ему связь, не задумываясь о последствиях.

Когда Алабины переехали на дачу, он вздохнул полегче. Сначала он ездил к ним раза по три-четыре в неделю, но потом, мало-помалу, стал наезжать реже, отговариваясь делами, и, видя Марию Сергеевну реже и реже, понемногу начал даже успокаиваться и чувствовать себя свободнее. Даже сам разрыв стал представляться ему гораздо легче и возможнее. Это произойдет постепенно, незаметно, он постарается к тому времени закончить все дела и уедет куда-нибудь, хоть на время. Ведь не погонится же за ним "муженек". Да, наконец, ведь и знать не будут, где он. Не адрес же им оставлять!

Решив для себя этот вопрос, Вабельский вполне успокоился, повеселел и, чувствуя себя на свободе, быстро вернулся к своему прежнему образу жизни, где один кутеж сменялся другим и одна женщина другою. После своего продолжительного "поста и говенья", как, смеясь, говорил сам Виктор Алексеевич, он с особенным удовольствием возвратился "на лоно природы" - в свой старый мир и к старым знакомым.

И мир, и знакомые встретили с восторгом его "возвращение на путь истинный", как остроумно заметила одна опереточная примадонна. Все были ему рады, и особенно она сама, так как он снова начал ухаживать за ней и подносить ей букеты и бриллианты. Его положительно недоставало в их компании, как уверяли разные примадонны и непримадонны. Без него чего-то не хватало, было скучно, к нему все так привыкли, он был "свой" - и вдруг исчез! Это даже нечестно, зато теперь они свое наверстают...

И Виктор Алексеевич действительно старался наверстать потерянное время. Ездил по всем Аркадиям, Ливадиям, ухаживал сразу за несколькими женщинами и устраивал, по случаю возвращения в "родную семью", разные торжественные пиршества по всем загородным ресторанам.

Однажды после спектакля, в котором Вабельский преподнес корзину цветов и браслет своей новой страсти, той самой примадонне, которая радовалась за него, что он "возвратился на путь истинный", вся их компания, человек двадцать, отправилась в верхнее помещение ресторана и заняла там почти все комнаты.

Виктор Алексеевич в этот вечер был в особом ударе. Он, уже отчасти отвыкший от всего этого, чувствовал себя так, как должен чувствовать себя человек, долгое время пробывший где-то в глуши и вернувшийся, наконец, на родину. После долгой разлуки эта родина казалась ему теперь и лучше, и интереснее, и даже ближе, чем прежде. Его опьянял, как новичка, один вид этих кутежей с цыганами, волнами табачного дыма, пролитым шампанским и женщинами, с лиц которых еще не стерлись следы театрального грима и которых он только что видел почти голыми, в розовых, черных и красных трико, распеваящих пикантные зазорные куплеты. И все эти женщины, даже самые незаметные из них, казались ему после тихой и застенчивой Марьи Сергеевны интересными, шикарными и имеющими в себе нечто острое и пикантное, чего никогда, думал он, не найти в этих "порядочных", как их называют, женщинах с их кисло-сладкою добродетелью и чопорностью. И особенно эта примадонна Гальская. Лет пять тому назад он слегка ухаживал за нею, и не без приятных воспоминаний. Положим, недолго, недели три; но тогда она нравилась ему гораздо меньше, он не понимал тогда всего ее вкуса. Теперь же, рассматривая ее скуластое смуглое лицо с беспокойными блестящими глазами, с широким вздернутым носом и большим ртом, сверкающим ослепительными зубами, он находил в ней особенную, "дикую" прелесть.

В ней не было не только красоты, но даже миловидности, и весь эффект ее лица заключался в его странности, оригинальной беспорядочной прическе сухих черных волос и в красном кармине губ. А между тем она и занимала его, и притягивала к себе. В ней было что-то кошачье и лживое, и это разжигало и опьяняло его, и он чувствовал себя способным натворить ради этой женщины бездну глупостей и страстно влюбиться в нее. Ненадолго, положим, но все же страстно. Она сидела рядом с ним так близко, что ее надушенное крепкими духами яркое пестрое платье почти закрывало его колени. И, поминутно поворачивая к нему свою живую подвижную голову с блестящими калмыцкими глазами, она наклонялась совсем близко к его лицу, обдавая его всего горячим дыханием своего чувственного рта. Пунцовые цветы вздрагивали и трепетали на ее волнуемой груди и колыхались за нарумяненным ухом. Она громко хохотала и напевала разные куплеты из своих партий в опереттах, и Виктор Алексеевич

чувствовал, что не только этот низкий гортанный голос, но и сами складки ее пестрого душистого платья волнуют и опьяняют его. "А там, - думал он, вспоминая Марью Сергеевну, - этого никогда не было, оттого, что в этой - жизнь, страсть, огонь, а у той - только вечные слезы да драмы..."

Х Марья Сергеевна не только ничего не знала, но даже и не подозревала. Она жила где-то за третьим Парголовым, нарочно подальше от модных мест и знакомых, и, занятая исключительно своим Колей, почти совсем не ездила в город, кроме двух-трех визитов к доктору, чтобы посоветоваться насчет своего сердца, все больше и больше тревожившего ее. Видя Вабельского веселым и ласковым, она была совершенно спокойна и, веря в его занятость, примирилась даже с его редкими визитами.

Виктор Алексеевич, зная за собой довольно-таки много разных провинностей, но не желая, чтобы и Марья Сергеевна узнала про них, также старался быть с ней ласковее и нежнее, чем прежде, усыпляя этим все ее подозрения. Ему достаточно было сказать ей несколько ласковых слов, и она сейчас же успокаивалась и все прощала ему. В последнее время она все чаще и чаще начинала чувствовать себя очень нехорошо. Ее мучили какие-то странные ощущения в сердце и во всей левой стороне груди, постепенно усиливающиеся. Прежде она приписывала их расстройству нервов вследствие различных неприятностей, но теперь их, в сущности, было гораздо меньше, чем прежде, а болезнь не проходила. Ее расстроенный разными потрясениями организм, раз надломившись, не мог уже полностью поправиться; почти не бывало недели без того, чтобы Марья Сергеевна не была чем-нибудь больна или не испытала бы по крайней мере сердечного приступа. Во время этих приступов биение сердца становилось таким неправильным, что она то почти задыхалась от учащенных перебоев, то думала, что оно совсем замирает и останавливается. Тогда на нее нападал панический ужас. Что-то холодело под левой грудью, вся левая рука цепенела, и ей начинало казаться, что сердце ее сейчас же разорвется, и она умрет... И с необычайною живостью ей мысленно представлялось это разорвавшееся в груди сердце с лопнувшими жилами и запекшейся кровью. Ее охватывал мучительный страх смерти, - холодея от ужаса, она вскакивала с кровати, судорожно цеплялась за грудь и, растирая ее, как бы насильно удерживала бьющееся и замирающее сердце. У ее отца был порок сердца, но умер он от тифа. Зато все симптомы у родной тетки, умершей пять лет назад, она помнила хорошо и, припоминая их теперь, находила полное сходство со своей болезнью. Те же ощущения и боли, на которые жаловалась та, те же приступы... Неужели и у нее порок сердца? Она холодела при одной этой мысли. Теперь, более чем когда-нибудь, она хотела жить. На ее руках был ребенок - что же будет с ним, если она умрет? За Наташу она не боялась: та уже большая, и у нее есть отец. Да Наташа и не пропадет. У нее есть и законное имя, и положение, и состояние. Быть может, с ее смертью она делается даже счастливее, по крайней мере вернется к отцу, к которому давно уже рвется всей душой. Разве не видно, не чувствуется, что Наташа раскаивается в том, что осталась с нею? И если не уходит теперь, то только из гордости, и еще потому, что ей совестно это сделать. Марья Сергеевна уже не верила в любовь дочери, не замечала ее ни в чем. Наташа сама отходит от нее, чуждается, и это уже не из ревности, как в прошлом году, а с холодным пониманием. Теперь они сделались совсем чужими друг для друга. Чужими уже потому, что Наташа ненавидит ее бедного Колю. Чем виноват ребенок? А между тем Наташа до сих пор не простила ему его рождения, не примирилась с ним ни на одну секунду и ненавидит его чуть ли не больше, чем самого Вабельского.

Чем яснее видела Марья Сергеевна холодность дочери к ребенку, тем сильнее любила его сама. Эта Наташина нелюбовь не только оскорбляла ее, но даже отталкивала ее и от самой Наташи. Она могла еще простить ее ненависть к своему любовнику, сознавая, что та имеет на это право. Но ненависти к ребенку, ни в чем не повинному, не только не умела и не могла прощать, но даже и не хотела заглушать в себе это недоброе чувство к дочери. Часто, подметив холодный взгляд Наташи, направленный на Колю, она раздраженно вспыхивала и, отворачиваясь от нее, еще крепче прижимала к себе сына, нарочно осыпая его нежными страстными ласками, как бы желая и вознаградить этим его за ненависть сестры, и наказать ее. Чем холоднее была Наташа к ребенку, тем холоднее становилась к ней мать; чем меньше Наташа скрывала свою холодность к малютке, тем меньше желала Марья Сергеевна скрывать свою холодность к ней, как бы нарочно мстя и оплачивая дочери ее же оружием.

Всю нежность и страсть, с которой она когда-то любила дочь, перенесла она теперь на сына. Сначала невольно и незаметно для самой себя. Потом - замечая и мучаясь укорами совести. Потом - постепенно привыкнув к этому и раздражаясь все чаще и чаще на Наташу. Марья

Сергеевна перестала уже и упрекать себя. Минутами это раздражение против дочери поднималось в ней так сильно, что она почти начинала желать, чтобы та сама ушла к отцу. Тогда Марья Сергеевна даже спрашивала себя с раздраженным удивлением, почему она так боялась и не хотела терять ее сначала, почему так страстно боролась за нее с Павлом Петровичем? Почему знать, быть может, для них всех было бы лучше, если бы Наташа осталась с отцом?

Ей было мучительно и горько понимание того, что у дочери есть и имя, и средства, и отец, а у ее любимого ребенка не было ничего. Не было даже законного права родиться и существовать. Она почти завидовала дочери из-за сына, и иногда ей казалось это такую страшную несправедливостью, как если бы Наташа насильно отняла или украла у Коли все его права, завладев ими единолично.

Они холодно встречались за обедом и чаем, избегая встреч в другое время, обменивались равнодушным поцелуем и иногда просиживали весь обед, почти не говоря друг с другом.

Наташа перешла уже во второй класс - ей шел шестнадцатый год, и от той Наташи, какой она была еще полтора года назад, почти не осталось и следа. Задумчивая и молчаливая, часто даже угрюмая, она казалась года на три старше своих лет. В ее лице не было мягкой и нежной красоты, свойственной Марье Сергеевне, и она не обещала сделаться даже хорошенькою. Лучше всего у нее были глаза и густые, не выщипанные, чисто русские волосы, прямые и мягкие, заплетенные в тяжелые длинные косы.

Сходство дочери с мужем почему-то было теперь неприятно Марье Сергеевне. Она не могла объяснить себе, почему ей хотелось бы, чтобы дочь меньше напоминала отца. Одни глаза она всецело взяла от матери: большие, продолговатой формы, задумчивые и глубокие, прекрасного темно-синего цвета, искрившиеся мягким лучистым блеском сквозь длинные, слегка загнутые ресницы, они, казалось, всегда были сосредоточены и жили какой-то глубокой внутренней жизнью. Но и в них проглядывало отцовское серьезное спокойствие. И вот это-то спокойствие, горделивое и холодное, часто даже как будто слегка презрительное, больше всего остального смущало и раздражало Марию Сергеевну. Она не выносила этого взгляда, и порой, невольно чувствуя себя виноватой перед дочерью, Марья Сергеевна волновалась и, стараясь оправдаться перед самой собою, начинала обвинять дочь в том, что она нарочно вызывает ее раздражение этим своим молча карающим взглядом. Иногда она жаловалась даже Фене.

Наташа нарочно старается мучить и волновать ее. Она знает, что это вредно не только для нее, Марьи Сергеевны, но и для маленького Коли, которому с молоком она передает и свое раздражение. Да, можно ли было прежде думать, что она станет такой сухой и черствой натурой! Маленькая, она была такая ласковая, привязчивая. Как можно ошибиться в человеке! Чего же ждать от посторонних, если из собственных детей вырастают чуть ли не враги?

Феня вполне соглашалась и, укоризненно качая головой, начинала пересказывать разные мелочи в поведении барышни, о которых барыня еще не знала. Осторожно подпирая дверь, чтобы никто не подслушал, она шептала барыне:

- Что уж и говорить! Все ведь видят! Например, еще вчера барышня захлопнули дверь прямо перед моим носом, когда я хотела войти туда вместе с Коленкой, который плакал и хотел именно в ту комнату. Разве барышня не могли позволить нам постоять там немного! Комнаты ведь от этого, кажется, не убудет! Ох, уж лучше и не говорить, не хочется барыню понапрасну беспокоить, а так разве мало есть чего сказать? Да вот хоть бы в среду! Взяли и выбросили совсем чистые чулки только потому, что они немножечко порвались. Ведь они знают, что люди все заняты, тогда Коленка больны были животиком. И я, и нянька были возле него все дни напролет - да вы сами знаете, даже ночей не спали. Кухарка занята - стряпает, посуду моет, в аптеку бегаёт. Так разве нельзя самим было зашить дырочки? Ведь не бросить же больного ребенка из-за чулок. А они еще даже крикнули: "Дайте другую пару, эта рваная!" Я говорю, что все чулки в стирке, другой пары нет. А они вдруг посмотрели этак с презрением, как всегда смотрят, когда рассердятся, усмехнулись, да и говорят: "Если чулок мало, значит, еще купить нужно". Как это вам покажется? Ведь это уже прямо, значит, и сказали, папаша, дескать, деньги за меня платят, а мне чулок купить не могут! Кто же не поймет! Ах, барыня, милая, да всего и не перескажешь! Вот письма также каждый-то день, каждый-то день все пишут и пишут, и о чем только, думаешь! Верно, жалуются все. И все сами, потихоньку от нас, их на почту относят. Нам никогда не доверяют, боятся, видно, что вам передадим.

Марья Сергеевна угрюмо слушала.

Наташа прекрасно все это видела и, оскорбленная тем, что мать не только променяла ее на любовника и нового ребенка, но еще и слушает все сплетни Фени, веря горничной больше, чем ей, дочери, еще сильнее пряталась в себя и еще дальше старалась держаться от всех домашних.

С некоторых пор она чувствовала себя в доме матери неловко, точно лишней, стесняющей всех других своим присутствием. Год тому назад ей казалось, что ее долг - оставаться с матерью, спасая и защищая ее от чего-то. Теперь же это "спасение" казалось ей детской неисполнимой мечтой, о которой бесполезно было даже и думать. Ни о каком возвращении "к прежнему" она уже не мечтала и, не веря в его возможность, не желала этого. Как она казалась Марье Сергеевне новою, чуждою, непонятною и совсем уже не той Наташей, которую когда-то она так страстно любила, так и Марья Сергеевна казалась Наташе такой же новою и непонятной, совсем не тою, перед которой она когда-то так благоговела. Постепенно из лучезарного, свято-го существа мать превратилась в ее глазах в простую смертную, грех и падение которой были ей тем больнее и ужаснее, что ей было тяжело расставаться со своим прекрасным кумиром, терять веру в него и... И даже уважение...

Как ни страшно было Наташе сознаваться в этом даже самой себе, но, вопреки своему желанию, она чувствовала, что это так. Уважение, действительно, исчезало с каждым днем, и, замечая это, она с ужасом обвиняла себя в этом. Прежде она просто ревновала Марью Сергеевну к Вабельскому, как ревновала бы к каждому, с кем мать хоть немного разделила бы свою любовь к ней. Теперь же, с возрастом, она перестала уже ревновать к нему. Она чувствовала его ничтожество и только невольно удивлялась ослеплению матери, так безумно любившей его. И эта любовь матери к нему постепенно вырывала из сердца Наташи ее собственную любовь к ней. После того случая, когда в день рождения Коли она чуть не убила Вабельского, поддразниваемая им, она уже никогда больше не говорила с ним и, завидев еще издали его фигуру, поспешно уходила к себе. После той сцены в гостиной Виктор Алексеевич и сам уже не решался дразнить и трогать Наташу и, иногда случайно встречаясь с ней в одной из комнат, обменивался с ней холодным, едва заметным кивком головы и довольствовался одним молчаливым саркастическим взглядом.

Порой, чувствуя себя лишнею, одинокою и оскорбленною всеми этими мелочами, Наташа и сама не понимала, что удерживает ее от того, чтобы вернуться к отцу. А между тем что-то, действительно, удерживало. Не то какая-то совесть, не то жалость к матери. Другое дело, когда Марья Сергеевна выйдет, наконец, замуж за Вабельского! Тогда она сможет уже с полным правом уйти от нее и возвратиться к отцу. Иногда ей даже хотелось, чтобы Марья Сергеевна сама пожелала удалить ее, так как сделать это самой у нее не хватало духу, несмотря на понимание, что теперь уже это не причинит горя Марье Сергеевне. Мало того, что она уйдет, не сделав ничего из того, о чем мечтала, но этим она как бы добровольно покажет всем, что любовник пересилил в ее матери все - даже ее родную дочь. Быть может, это даже даст потом повод для разговоров о том, что Вабельский сам принудил Марью Сергеевну удалить от себя дочь, точно выгнав ее от родной матери. И Наташа гневно вспыхивала и решалась лучше переносить все, чем дать своим уходом право чужим людям так говорить о своей матери. Пускай лучше думают, что они все так же дружны, все так же любят друг друга, как и прежде, при отце. И в тех редких случаях, когда Наташе случалось гулять вместе с матерью, она гордо шла с нею под руку, высоко неся свою голову и как бы желая доказать всему миру, что она не только не стыдится своей матери, но и уважает ее так же, как и прежде. Она с ужасом и стыдом думала, что если кто-нибудь догадается о том, что она, родная дочь, перестала уже чувствовать это уважение к своей матери, то как же начнут относиться к ней посторонние? И она не только не признавалась отцу, как тяжело живется ей, но старалась даже дать ему понять, что ей хорошо и что она все так же надеется и мечтает о лучшем будущем. К чему причинять и ему новое, лишнее страдание! Помочь все равно ничему нельзя.

Феня лгала, говоря, что Наташа пишет Павлу Петровичу чуть ли не каждый день. Напротив, она писала редко. Оба они чувствовали, что не могут писать друг другу вполне открыто, как им бы того хотелось, что о многом они должны умалчивать и даже лгать, утешая и успокаивая один другого. Поэтому письма их были не только короткими, но и слегка натянутыми. Они как бы боялись нечаянно проговориться друг другу о страшном горе, тяжелым бременем лежавшем на их душах и так отравлявшем жизнь.

Но если сам Вабельский уже не вызывал иного чувства у Наташи, кроме презрения и гадливости, то маленький Коля нередко пробуждал в ней порывы уснувшей было ревности к матери. Она старалась заглушать их в себе не потому, что не считала себя на это вправе, но из инстинктивной потребности в том спокойствии, которое одно оставалось ей после потери всего, что она называла своим счастьем и которое было ей необходимо, как она думала, для того, чтобы заниматься и блестяще закончить курс. Точно для того, чтобы забыться и отвлечься хоть немного, Наташа теперь с особенным усердием накинута на свои занятия и книги, проводя за

ними почти все время. И все-таки порой, несмотря на всю свою твердую решимость быть благообразною в отношениях с родными, Наташа не всегда могла выдержать. Особенно часто это случалось с ней в те минуты, когда она наблюдала, как ее мать кормит ребенка грудью.

Марья Сергеевна нежно склоняла над ним свое счастливое лицо и, крепко прижимая его к себе, осыпала его горячими ласками и поцелуями. Наташа сумрачно смотрела на них, смотрела на это вдруг совершенно изменившееся лицо, на эту полную белую грудь с тонкими голубыми жилками, к которой деспотично, как бы сознавая свое полное неотъемлемое право, припадал маленький Коля, и болезненная ревность вновь мучительно поднималась в ней. Она как бы с удивлением и негодованием глядела на мать, не в силах понять, как она, ее мать, может любить это новое, так внезапно для всех них явившееся в их семью и жизнь маленькое существо больше, чем ее, свою Наташу. Что мать любит его больше, она уже не сомневалась. Она прекрасно понимала и то, что когда Марья Сергеевна увлеклась Вабельским, она только охладела к ней, Наташе, но все-таки не переставала любить ее, тогда как с рождением нового ребенка дочь вдруг как бы совершенно перестала существовать для нее, и свое страстное чувство Марья Сергеевна перенесла исключительно на сына. Часто, когда мать нянчилась и играла с маленьким, Наташа задумчиво следила за ними, мысленно припоминая то время, когда она сама была еще маленькою девочкой. Ей вдруг вспоминалась какая-нибудь сцена, случай из далекого детства, тогда - незначительный и пустой, но теперь милый и дорогой ей. Особенно живо вспоминалась ей голубая комната Марьи Сергеевны на Николаевской улице, рабочий столик с фарфоровой лампой и мягкий кретоновый диванчик с большими букетами роз и гвоздик, на котором она, бывало, примостившись за спиной матери, слушала ее рассказы о разных тетях и бабушках в длинные зимние вечера. Ей казалось, что это было еще так недавно, она еще почти могла вызвать в себе то, захватывавшее дух, ощущение нетерпения и какой-то жутко тревожной радости, когда, лежа вечером в своей кровати под белым кисейным пологом, она поджидала прихода матери. Где все это? И неужели это никогда больше не вернется? Да, не вернется; теперь все другое, даже лицо матери. Наташа пристально вглядывается в лицо Марьи Сергеевны, разговаривающей с Феней, и ей кажется, что то лицо, которое было у нее "тогда", и это "нынешнее" - два совершенно разных лица, почти не похожих одно на другое. По крайней мере, из ее лица теперь исчезло что-то такое, что Наташа так страстно любила в нем, что дела-ло его в ее глазах таким прекрасным, благородным, светлым, почти святым. Пропала всего одна какая-то черточка, одно выражение, а изменилось все лицо. И той духовной красоты его, светившейся особенно мягко в глазах ее, уже не чувствовалось больше: теперь оно почти всегда чем-нибудь озабочено и раздражено. Правда, это прекрасное выражение временами еще вспыхивает в нем, большею частью тогда, когда она с нежной задумчивостью кормит грудью маленького Колю. Но теперь это выражение уже не трогает Наташу. Напротив, улавливая его иногда на просветлевшем лице матери, она тоскует еще больше, и в подобные минуты ей еще сильнее кажется, что этот ребенок отнял у нее то, на что не имел права... И злое чувство против него вспыхивает в ней еще сильнее, еще больше настраивает ее и против ребенка, и против матери, и даже против самой жизни.

XI Осенью, когда Алабины опять переехали в город, свобода Вабельского должна была отчасти уменьшиться. Он уже не мог, отговариваясь делами, не показываться по нескольку дней в их квартире. К тому же, как только он "пропадал", сейчас же являлась Феня просить его от имени барыни сегодня же вечером пожаловать к ним или даже и сама барыня. Виктора Алексеича это положительно возмущало. Один раз отвоевав свободу, он вовсе не желал вновь терять ее и позволять Марье Сергеевне по-прежнему вмешиваться в каждый шаг его жизни. Увидев у себя в передней фигуру Фени или услышав в гостиной шаги Марьи Сергеевны, Виктор Алексеич моментально раздражался и сердился. Что он, маленький, что ли, чтобы давать отчет о своем поведении? Ему уже надоело это вечное выслеживание! Он просит раз и навсегда не вмешиваться в его дела, не требовать от него никаких отчетов и не бегать за ним по пятам, следя, где он и что он. Это ни на что не похоже, наконец!

Марья Сергеевна бледнела и печально опускала голову. Ей было и больно, и совестно. К чему он так говорит! Разве она следит? Ей просто хотелось видеть его, он отсутствовал пять дней, она боялась, не заболел ли он! Нельзя ли не бояться? А ему уж это надоело!

Виктор Алексеич раздраженно ходил по кабинету из угла в угол, стараясь только не смотреть на Марью Сергеевну и не встречаться с нею взглядом. Эти глаза, темные, глубоко запавшие на исхудавшем и поблекшем лице ее, с немим тоскливым упреком следившие за ним, вызывали у него неприятное и неловкое чувство.

Он ощущал их взгляд на своей спине, когда шагал в сторону от нее, и на лице, когда шел к ней. Чего она от него хочет? Не может же он прилепиться к ее юбке и вечно торчать у Коленкиных пеленок! Ведь у него, слава Богу, кажется, и другие дела еще есть! Нельзя же бросить все только потому, что ей "скучно"! Если скучно, пускай займется чем-нибудь - читает, гуляет, возится с детьми, с хозяйством, у нее ведь, кажется, целый дом на руках. Могла бы отыскать подходящее занятие и не скучать! Так нет, это все тоже скучно. Их нужно забавлять и развлекать. А того не понимают, что с этими развлечениями можно будет дойти и до того, что есть нечего будет. Она ведь, кажется, знает, что он обеспечивает себя только трудом своим и что ему нужно работать, а не баклуши бить.

Виктор Алексеевич говорил громко и с полным, видимо, убеждением в своей правоте и справедливости, но в душе был не совсем спокоен. Как это ни странно было для него самого, как ни удивлялся он сам своей "глупой деликатности", тем не менее невольно и почти бессознательно он чувствовал перед Марьей Сергеевной какую-то неловкость, порой даже некоторый страх и укоры совести. Но подобное ощущение раздражало его еще больше, чем упреки, письма и приезды самой Марьи Сергеевны. Он даже слегка как будто старался оправдываться перед самим собою.

Ведь он, кажется, не давал ей ни клятв, ни обещаний жениться на ней или вечно жить с ней... И то, он уже почти два года пронянчился с ней. Если это не закончится теперь, то потом будет уже поздно. Лучше прекратить все сразу. Одно несчастье: дела его еще не завершены, уехать нельзя, а пока он будет здесь, в Петербурге, конец почти немислим; она будет и сама ездить, и Феню посылать, если он прекратит свои посещения. К тому же начнутся слезы, сцены, мелодрамы и черт еще знает что такое! Нет, уж лучше дотянуть кое-как, пока он не будет в состоянии уехать совсем куда-нибудь из Петербурга. И подумать только, что из-за такой глупейшей истории придется вдруг уезжать, бросать и город, и дела, и клиентов, чтобы только как-нибудь выпутаться. Во всяком случае, "ее" нужно обуздать, по крайней мере, ясно показать ей, что никаких прав распоряжаться собою он ей не даст и никаких посягательств на себя и свою свободу не позволит! Вообще - отстранить ее "на загородную дистанцию"!

И Виктор Алексеевич продолжал "тянуть всю эту канитель", хотя она страшно ему накусила. Он не только не находил уже ничего красивого и интересного в Марье Сергеевне, но одна мысль о том, что нужно к ней ехать и сидеть с ней целый вечер, уже нагоняла на него тоску и злость. Приезжал он к Алабиным почти всегда не в духе и заботился только о том, чтобы насколько возможно сократить свой визит. Сначала это "не в духе" проявлялось у него невольно, само по себе; но потом, заметив, что Марья Сергеевна боится подобного его настроения и не осмеливается в такие моменты "приставать" к нему ни с упреками, ни с ласками, он очень обрадовался своему открытию; с тех пор, в каком бы настроении он ни находился, но, как только звонил у дверей Алабиных и Феня открывала ему, он сразу же делал сердитое лицо и говорил уже не иначе как раздраженным и недовольным тоном. Весь дом начинал "ходить на цыпочках", Виктор Алексеевич молчал и сидел в своем углу, надувшись, а Марья Сергеевна даже приказания отдавала шепотом, как бы боясь повысить голос и тем еще больше рассердить его.

- Он не в духе, - потихоньку говорила она Фене, выходя в соседнюю комнату и обмениваясь с ней многозначительным взглядом.

В эти часы даже маленькому Коле приходилось плохо. Марья Сергеевна вздрагивала, как только он начинал плакать и кричать, и, поймав суровый взгляд Виктора Алексеевича, бледнела, поспешно вскакивала и, схватив ребенка на руки, уносила его куда-нибудь в дальние комнаты, запрещая няньке не только выходить оттуда с ним, но даже и открывать дверь. Она хитрила, притворялась веселой, не смела спрашивать его о причине раздражения и всячески старалась только продлить его присутствие.

Когда он уезжал, приходила Феня, и начинались длинные разговоры.

- У него неприятности в делах, - говорила Марья Сергеевна сочувствующим, но не совсем уверенным голосом, как бы желая и Виктора Алексеевича оправдать, и объяснить причину его дурного настроения и Фене, и самой себе.

- Конечно! - соглашалась Феня, сочувствовавшая Вабельскому чуть ли не наравне с барыней. - За целый-то день устанут! Мало ли у них дел да хлопот разных!

Они обе точно старались найти успокоение и утешение в словах и выводах друг друга и, казалось, вполне искренне верили в эти дела и неприятности, раздражавшие его, тогда как в глубине души у каждой жило невольное, хотя и смутное понимание совсем иной причины.

Боязнь потерять его была так сильна в Марье Сергеевне, что она забывала гордость и самолюбие, а если они невольно усиливались в ней, то она насильно старалась подавить их. Она

молча сносила все резкости Вабельского, его обидные фразы и оскорбительное поведение, стараясь или вовсе не замечать их, или приписывать им другое значение и смысл не только перед ним и Феней, но и перед самой собою, и перед собою даже более, чем перед другими.

Он был с нею груб, нисколько не внимателен, не стеснялся показывать ей, как она надоела и наскучила ему, - и все-таки она страстно и безумно любила его, и теперь даже больше, чем тогда, вначале, когда он старался нравиться ей и был нежен, внимателен и предупредителен. Она привязалась к нему той собачьей преданностью, которая заставляет собаку лизать руку только что побившего ее хозяина. Порой даже сам Виктор Алексеевич поражался этому полному отсутствию в ней обидчивости и самолюбия. В самом худшем случае она начинала только плакать, но и тогда прощала его сразу не только при первом же ласковом слове, но даже когда он, раздраженный ее слезами, начинал сердиться и браниться еще больше. Она быстро утирала глаза и упрашивала его умоляющим голосом:

- Ну, я не буду, милый, не буду, не сердись только...

Часто, глядя на ее расплывшуюся фигуру и поблекшее лицо, он с удивлением спрашивал себя: да неужели это та самая женщина, которая когда-то так сильно нравилась ему? И что с ней случилось, что она так страшно изменилась и морально, и физически! И невольно припоминал, какой была она два года тому назад, когда он впервые увидел ее на вечере у знакомых.

Тогда ее красота удивила его. В тот же вечер он начал слегка ухаживать за ней, но ухаживать с тою почтительною внимательностью, с какою вообще редко относился к женщинам. Всматриваясь тогда в ее прекрасные, спокойные глаза, ровные движения и горделивую осанку, Виктор Алексеевич сознавал, что ухаживать за этой женщиной с определенными целями и надеждами почти не стоит, так как успех вряд ли возможен. "Слишком уж спокойна и горда и своею безупречностью, и своим положением; и, наверное, слишком развито осознание обязанностей!" - сказал он себе. И только уже спустя несколько месяцев ему пришлось как-то вальсировать с ней; и в то время, когда она, как бы полулежа на его плече, обдавала его своим горячим дыханием, он подметил такие огоньки в этих спокойных синих глазах и такую страстную морщинку в уголках красивого рта, что невольно призадумался на минутку. "А ведь ухаживать-то, может быть, и стоит! - подумал он, пристально всматриваясь в нее своим опытным взглядом. - И даже не только "может быть", но и наверняка стоит, только с большим терпением и тактом. Ну что ж, будем пробовать!"

И хотя терпения потребовалось меньше, чем он предполагал, и это удивило, и даже как будто разочаровало его слегка, но все же первое время она поддерживала в нем то чувство уважения, которое умела вызывать во всех, кто ее знал, но какое он, Виктор Алексеевич, очень редко чувствовал по отношению к другим своим многочисленным любовницам. А теперь она не только не вызывала уже этого невольного уважения к себе, но, напротив, делалась все противнее и скучнее, и падала в его глазах ниже всех своих предшественниц. Почти ни с одною из них он не обращался так резко и грубо, как позволял себе с ней. Порой это даже забавляло его; он как будто специально старался узнать, до чего может дойти ее терпение и его власть над ней, и невольно удивлялся неистощимости и того, и другого. Но чем терпеливее была она, тем противнее становилась ему. Он мысленно сравнивал ее с Гальской, завладевшей им в последнее время, и как та казалась ему каким-то острым пикантным блюдом, приятно разжигающим аппетит, так Марья Сергеевна вызывала в нем почти отвращение, как опротивевшее кушанье. Иногда он приезжал внезапно и заставал ее не одетую, непричесанную, с желтым лицом, в старом капоте и невольно удивлялся ее, как ему казалось, старческому виду. В тридцать три года ей можно было дать лет двадцать семь - двадцать восемь, в тридцать же пять она выглядела на сорок. Она совершенно перестала заниматься своею внешностью и туалетом и, вся поглощенная вознею с Колей, чувствовала себя гораздо лучше и свободнее в старом фланелевом капоте, к которому она так привыкла, что ей даже жаль было расстаться с ним. Постепенно она теряла вкус и почти разучилась одеваться к лицу, изящно и красиво, как умела прежде. Иногда же, когда в ней вдруг снова просыпалось желание быть интересною и красивою только для того, конечно, чтобы нравиться ему, она одевалась во что-нибудь нарядное, светлое, розовое или голубое, что должно было, как ей казалось, делать ее моложе, но что давно уже перестало идти ей. Ему же в этих костюмах она казалась еще старше, непривлекательнее и смешнее. Сама она не замечала, что стареет, опускается и дурнеет, и только иногда, взглянув на себя в зеркало попристальнее, поражалась, увидев, как серебрится на виске прядь ее черных волос и какие глубокие и частые морщины проступают на лбу и в углах рта.

Тогда она удивлялась с горечью и испугом. Отчего ж это? Неужели... неужели пора? Ведь ей нет еще и тридцати пяти лет. И с тоскливою тревогой она всматривалась в лица окружающих ее людей, как бы желая узнать, изменились ли и они тоже. Но лица Вабельского и Фени

казались точно такими же, как были и два года назад; одна Наташа очень переменялась за это время и казалась уже не девочкой, а девушкой. И Марья Сергеевна старалась успокоить себя, ей так не хотелось еще стариться!

"Глупости, - утешала она себя, - просто я больна, оттого и подурнела немножко, но это пройдет, вот поправлюсь и пройдет все". Никто не изменился, значит, не изменилась и она. Она тревожно взглядывала на свой большой портрет, снятый около двух лет назад, и прелестное лицо, смотревшее с него, успокаивало и утешало ее. Ведь не могла же она состариться в полтора года!

Продолжение следует...

М.В. Крестовская.

*Истинная дружба
состоит не в том,
чтобы рассказывать,
а в том, чтобы
выслушивать.*



Милосердие

Маленький мальчик стоял у витрины
И по слогам объявление читал,
В нём сообщал продавец магазина,
Что он забавных котят продавал.
Мальчик не смело вошёл и с порога
Скромно спросил, сколько стоят они.
Цену узнав, прошептал: «Это много...»
Ручки засунув в карманы свои.
Он потихоньку извлёк всё, что было,
Да, это мало, хоть долго копил.
Детское сердце невольно заныло,
С горечью в голосе он попросил:
«Дяденька, можно хотя бы глазочком
Только на ваших котят посмотреть,
Были бы деньги, купил бы я точно,
Но накопить мне никак не успеть.»
И продавец, не спеша, открывает
Крышку в огромной коробке и вот
Восемь котят из неё выбегают,
Но, а девятый за ними ползёт.
Хочет успеть за друзьями своими,
Но не угнаться за ними ему.
А всё потому лишь, что ножки больные,
Так он родился, себе на беду.
Мальчика словно водой окатили,
Глазки свои отвести он не смел,
Даже сказать что-то был он не в силах,
Лишь на хромого котёнка смотрел.
Но через силу, с огромным волненьем,
Еле, чуть слышно он вдруг проронил:

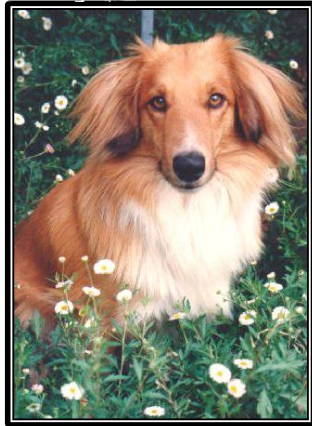
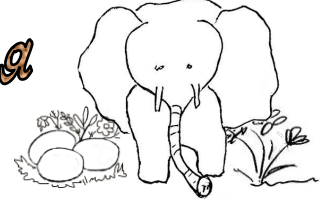


«Были бы деньги, то я без сомненья
Котёка хромого у вас бы купил.»
А продавец посмотрев с изумленьем,
Грустно ответил, кивнув на него:
«Знаешь, котёнок больной, к сожалению,
Родился таким, не излечишь его.
Но если ты хочешь, котёнка хромого
Можешь себе и без денег забрать.
Никто и копейки не даст за такого,
Я и не думал его продавать.»
Мальчик ответил серьёзно и строго:
«Деньги у мамы могу я занять,
Я заплачу за котёнка хромого,
Чем же он хуже здоровых котят?
Стоит он так же, как стоят другие,
Полную цену я вам заплачу,
Будем с ним жить мы, как братья родные,
Сильно котёнка купить я хочу!»
Это сказав, он неловко нагнулся,
И под штанину зачем-то полез.
Взглянув на него, продавец ужаснулся,
Вместо ноги, он увидел протез!
Слёзы в глазах, в горле ком, дрожь по телу,
Всё стало ясно теперь продавцу.
Мальчика крепко обнять захотелось,
Он протянул свои руки мальцу.
«Знаешь, мой мальчик, чего я хотел бы?
Чтоб остальные котята нашли
Тоже заботливых и милосердных,
Добрых хозяев, таких же, как ты!»



Тузик и его друзья

«В гости...»



На Шумном Дворе ночь, тишина. Только филин изредка ухнет... Днём все работали - готовились к Пасхе. Мама-Иголочка пекла куличи, - много получилось, целых ШЕСТЬ! Рябушки раскрашивали яички во все цвета радуги. Бублик и Говорилка прибирали в своей комнатке. Папа-Лобик и дедушка Помахайкин работали во дворе - подрезали ветки, подметали дорожки в саду. Тузик и Матильда Леопольдовна следили за порядком. К вечеру все очень устали. Теперь спят. Даже Бублик и Говорилка посапывают в кроватке...

Хотя на самом деле гномики вовсе не собирались спать: они хотели всю ночь сидеть у окна и ждать, когда утром на Шумном Дворе заиграет Пасхальное солнышко. Конечно, малыши долго не могли выдержать - они забрались в кровати и крепко уснули...

Вдруг Бублика и Говорилку разбудил странный звук - точно у калитки кто-то громко вздыхает и тяжело топает ногами. Вот опять послышалось: “топ-топ”, “топ-топ-топ”...

Гномики одновременно подняли головы.

- Что это? - спросил братишку сонный Говорилка.

- Наверное, это нам снится, - зевнул Бублик. Потом потёр кулачком глаза и прислушался: - А может, это наша Матильда Леопольдовна ходит по крыше..?

- Не-ет, - ответил Говорилка: - кошки маленькие, и ходят они очень тихо, а тут кто-то громко топает...

Бублик закрыл подушкой ухо. Говорилка натянул на голову одеяло: уж очень спать хочется! А в это время во дворе опять - “топ-топ, топ-топ-топ”, и опять кто-то вздыхает и как-будто трогает калитку...

Гномики не выдержали - вылезли из кроватки и бегом на цыпочках к двери! Выглянули во двор. Смотрят, у порога Тузик и Матильда Леопольдовна...

- Кто-то чужой пришёл на Шумный Двор, - говорит Тузик и уже хочет зарычать.

- Не волнуйся, Тузенька, - успокаивает белая кошка. - Зачем сразу поднимать панику?

- Да, да, - шепчет Говорилка, - не надо лаять, иначе всех разбудишь...

- Лучше пойдём, посмотрим - кто это там... у калитки.., - говорит Бублик.

Леопард тревожно заскрипел ветками: куда это дети ночью собрались? Но тут увидел, что гномики не одни, что с ними Тузик и Матильда Леопольдовна.

Стараясь не шуметь, друзья обошли Шумный Двор. Везде тихо, нигде ничего не видно. А вот и калитка...

И вдруг - совсем рядом, возле самой калитки - снова послышалось знакомое “топ-топ, топ-топ-топ”; потом кто-то фыркнул, тряхнул ушами, и тихонько вздохнул.

Смотрят гномики - понять не могут, даже Тузик с Матильдой Леопольдовной протёрли глаза: что такое! - у калитки стоит маленький, хорошенький слонёнок на толстых ножках, с большими ушами и с настоящим длинным хоботом. Слонёнок переступает с ноги на ногу, покачивает головой и потряхивает ушами.

- Это - я, Бумбыш, - застенчиво сказал гость. - Вы уж извините, что я так поздно...

- Ты... ты... что же это, Бумбыш... Ты пришёл сюда один? - удивился Говорилка.

- Ты же ещё совсем маленький, - забеспокоился Бублик. - А на дворе темно...

- Я живу в зоопарке. Мне очень хотелось посмотреть, как вы празднуете Пасху. Вот я и пришёл в гости.

- Не «в гости пришёл», а сбежал из зоопарка! - ухнул пролетающий филин.

- Не слушай филина, - сказала Матильда Леопольдовна. - На Пасху мы всегда гостям рады.

- Нельзя слонятам ночью по дорогам ходить, опасно, - сказал Тузик, открыл калитку и впустил слонёнка во двор.

- Вот хорошо, - обрадовалась белая кошка, - оставайся у нас до утра. Вместе будем Пасху встречать.

Гномики начали ласкать Бумбыша. Даже Матильда Леопольдовна погладила ему хобот, потрогала огромные уши. Тузик лизал слонёнка толстые ножки.

- Осторожно, милый Тузик! - застенчиво сказал Бумбыш, переступая с ноги на ногу, - мои ножки очень тяжёлые, боюсь наступить тебе на лапу...

Бублик сбегал домой. Принёс самый красивый кулич. Гномики стали угощать слонёнка.

С большим аппетитом Бумбыш съел сразу весь кулич. Целиком. Оглянулся - нет ли ещё...

«Что делать!» - Говорилка побежал в дом. Принёс второй кулич. Потом - третий. Потом - четвёртый. А потом и последний - ШЕСТОЙ кулич исчез в пузике маленького Бумбыша...

Гномики растерялись: в домике больше не осталось куличей, а завтра Пасха. Мама-Иголочка не успеет испечь новые...

В это время Матильда Леопольдовна принесла разноцветные яички. Очистила их от скорлупы, и тоже стала угощать слонёнка. Конечно же, Бумбыш съел яички, все до одного.

- Что же теперь будет? - молча посмотрел на братишку Говорилка.

- Мама-Иголочка - добрая, - прошептал Бублик, она и сама очень любит угощать.

Известно, что слоны очень умные. У них даже слонята догадливые. И все они - и большие, и маленькие слонята - очень-очень добрые...

Посмотрел Бумбыш на гномиков. Положил свой хобот сначала Бублику на плечо. Потом - Говорилке. Потом легонько погладил по спине Тузика и Матильду Леопольдовну. И тихонько затрубил:

- Спасибо милые друзья, никогда не забуду ваших вкусных куличей. И потому хочу сделать вам на праздник замечательный сюрприз...

Пока слонёнок говорил, над Шумным Двором поднялось и заиграло Пасхальное солнышко.

Солнышко играет - золотые лучи искрятся в сине-розовом небе, весело пляшут в листьях Леопарда и перескакивают с ветки на ветку. Смотрят гномики, насмотреться не могут: красота!

- Пасха! - наконец-то! И тут гномики вспомнили про слонёнка.

- А где же Бумбыш? - оглянулся Говорилка.

- Что за чудеса, его нигде нет... - развёл руками Бублик.

- Исчез наш милый слонёнок, - вздохнули Тузик и Матильда Леопольдовна.

Пошли искать. Проверили возле калитки; потом обошли весь двор; посмотрели под Леопардом. Наконец, заглянули в окошко своего домика и... Что за чудеса! - все ШЕСТЬ куличей на столе, будто их никто и не трогал! И яички разноцветные лежат на тарелке - тоже все целые. А рядом - большая корзина новых разноцветных яиц...

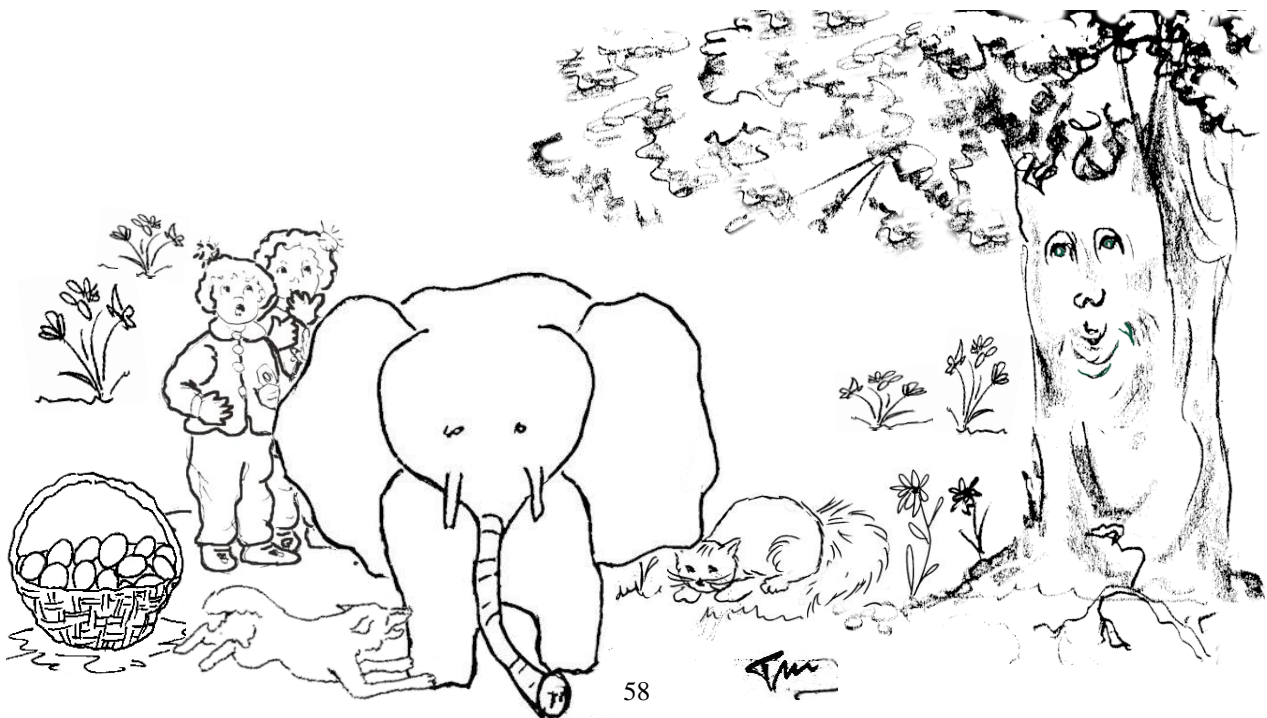
- Странно, - посмотрел на братишку Бублик, - этой корзины здесь раньше не было. Наверное, Бумбыш подарил?

- Может, нам всё это только приснилось? - недоверчиво трёт глаза Говорилка.

- А если приснилось, - зевает Бублик, - тогда откуда на столе новая корзина с разноцветными яичками?

- Но самое главное: - вскарабкалась на окошко Матильда Леопольдовна, - почему на траве осталась разноцветная скорлупа?

В самом деле, - задумался Тузик, - откуда на траве скорлупа?



СОДЕРЖАНИЕ

Христос Воскресе! - жизнь торжествует... (стих. Л. Громова)	1
Зима ушла... (стих. прот. В. Мазур)	1
Поле-полюшко в цветах... (стих. В. Шамонин-Версенева)	1
До гробовой доски (стих. В.К. Невярович)	2
Смысл жизни человека... (стих. В. Румянцев)	2
О ложных решениях проблемы (статья, Ильин)	3
От озёр и от рек... (стих. А. Лазутин)	8
В церковном дворике (стих. И. Нечипорук)	9
А за окошком сыпал снег... (стих. Светлана (фамилия не указана))	9
Первое тепло (стих. С. Тишкина)	9
Мир Божий (стих. В.К. Невярович)	9
В нежно-тихую рань (стих. В. Шамонин-Версенева)	9
Володя большой и Володя маленький (рассказ, А.П. Чехов)	10
Тихой ночью поздний месяц... (стих. И. Бунин)	15
Прощальное письмо (стих. А. Скворцов)	15
Звезда; В тумане; Общая; Звенит; Облака; На берегу (хайку, Е. Кульба)	15
Жизнь поэта - К. Симонов (с Интернета, неизвест. автора)	16
Жди меня... (стих. Константин Симонов)	22
Концерт (рассказ, ТЭФФИ)	23
Телевизор - это угар... (стих. В.К. Невярович)	25
Вовкины качели (рассказ, С. Криворотов)	26
Дед (стих. Л. Данишина)	27
Там есть глубокие умы... (стих. В. Еращенко)	27
Булат (юморис.рассказ, игумен Герман(Скрыпник))	28
Христос Воскресе! (стих. С. Тишкина)	29
Исповедь пера (стих. Н. Климкин)	29
Взрывают лёд на северной реке... (стих. А. Гушан)	29
История одного стихотворения (очерк, Е. Логунова)	30
Терентий Травник – поэзия.....	
Белых колоколен корабли; Милая деревня; Пока живёшь;	
Людям милая; Есть в самом сердце;	31
Ах, детства давность; Встреча; Virgo; Из ежедневных мелочей,	32
На хуторе (рассказ, В. Бохов)	33
Саломея (роман, А.Ф. Вельтман)	35
Я знаю, ничего не повторится... (стих. В. Бодров)	44
Бабушкина молитва (стих. Н. Окулова)	44
Письма читателей	45
Ранние грозы (рассказ, М.В. Крестовская)	47
Милосердие (стих. Ольга Май)	56
Тузик и его друзья (Т. Малеевская, рис. автора)	57

Над номером работали: редактор Т.Н. Малеевская.

Журнал можно приобрести в редакции «Жемчужины» - 0404-559-294. А также в прицерковных киосках Св.Николаевского Кафедрального Собора, Св.Серафимовского храма и Св.-Владимирской церкви (Рокли) в Брисбене, в киоске Покровского Кафедрального Собора в Мельбурне, а также - З.Н. Кожевникова (02) 9609-29-87

Рисунки на обложке и к избранным текстам (иниц.) – Т. Малеевская



ВНИМАНИЕ !

Готовится к изданию сборник стихов,
рассказов и путевых заметок Т.Н. Малеевской.

Приблиз. дата выпуска - в первой половине 2017 г.

За справками обращаться –
tmaleevsky10zabelsky@gmail.com



Т. Малеевская
«Страна отцов»
«Серебряный город»
«Душенька»:

А также книга

В.А. Малеевского «Претенденты
на Российский Престол»
За справками обращаться:

(07) 3161-49-27

или

tmaleevsky10zabelsky@gmail.com

Литературный кружок «Жемчужное Слово»

<http://zhemchuzhnojeslovo.yolasite.com>

Сайты связанные с журналом «Жемчужина»

Электронная версия журнала «Жемчужина»
<http://zhemchuzhina.yolasite.com>

Новый сайт «Русское Зарубежье»
Посвящается Харбинцам
и послевоенным эмигрантам из Европы -
<http://ruskojazarubezhje.yolasite.com>

Также личный сайт автора -
tamaleevwriting.yolasite.com

